

НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

КОРОНОВАННЫЙ
РЫЦАРЬ

Николай Гейнце

Коронованный рыцарь

«Public Domain»

1895

Гейнце Н. Э.

Коронованный рыцарь / Н. Э. Гейнце — «Public Domain», 1895

«Сгустившиеся поздние весенние сумерки окутали темно-серой дымкой запущенные аллеи Таврического сада. Был первый час ночи на 3 мая 1799 года – именно тот час, когда на петербургском небе происходит продолжающаяся какие-нибудь полчаса борьба между поздним мраком ночи и раннею зарею...»

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	8
III	11
IV	14
V	18
VI	22
VII	26
VIII	30
IX	34
X	38
XI	42
XII	46
XIII	50
XIV	54
XV	59
XVI	63
XVII	68
XVIII	73
Конец ознакомительного фрагмента.	74

Николай Эдуардович Гейнце

Коронованный рыцарь

Часть первая

Без гроба

I

Страшная находка

Сгустившиеся поздние весенние сумерки окутали темно-серой дымкой запущенные аллеи Таврического сада.

Был первый час ночи на 3 мая 1799 года – именно тот час, когда на петербургском небе происходит продолжающаяся какие-нибудь полчаса борьба между поздним мраком ночи и раннею зарею.

Таврический дворец, еще недавний свидетель пышности и великолепия светлейшего «князя Тавриды», от самой могилы которого в описываемое нами время не осталось и следа, стоял среди ярко-зеленой, в тот год рано распустившейся листвы, как живое доказательство бренности людского счастья, непрочности человеческих дел, в сравнении с сияющей все прежним блеском каждый год обновляющейся Природы.

Сад, несмотря на запущенность дорожек, заброшенность куртин и цветников, засоренные пруды и каскады, своим естественным великолепием, своею дикою прелестью, оттенял печальные развалины чуда человеческого искусства, жилища «великолепного», так недавно еще властного, а теперь совершенно забытого вельможи.

Всюду виднелись обломанные колонны, облупленные пальмы, поддерживающие своды.

В огромном зале с колоннадой, украшенной барельефами и живописью, где шесть-семь лет тому назад веселился «храбрый Росс» и раздавались бравурные звуки Державинского гимна: «Гром победы раздавайся», царила могильная тишина, где так недавно благоухали восточные курения и атмосфера была наполнена духами холивших свои красивые тела модниц, слышался запах навоза, кучи которого были собраны у подножья драгоценных мраморных колон.

Днем здесь, вместо гармонических звуков, раздается хлопанье бичей и топот бегающих на корде лошадей. Вместо легкой, воздушной походки красавиц и скользящих шагов придворных кавалеров, по полу, лишенному роскошного паркета, раздаются тяжелые шаги конюхов; вместо лстивых медоносных речей особ «большого света», слышатся грубые возгласы и речь, пересыпанная крепкими русскими словами.

Дворец обращен в манеж.

В описываемую нами ночь все его настоящие обитатели спали крепким сном рабочих людей после трудового дня и лишь в одной из сторожек сада виднелся слабо мерцавший огонек.

Нагорелый огарок сальной свечи в железном подсвечнике полуосвещал внутренность сторожки.

На лавке у стола лежал старик лет восьмидесяти, из отставных солдат, что видно было по обросшему седыми, щетинистыми волосами, привыкшему к бритве, подбородку, когда-то коротко обстриженным, а теперь торчащим седыми вихрями волосам на голове.

Старик сладко дремал, лежа головой на свернутой солдатской шинели, под однообразный визг сапожной дратвы, продергиваемой в кожу.

Это тачал сапоги, сидевший на деревянном табурете, с другой стороны стола, второй обитатель сторожки. Внешность его стоит более подробного описания.

Несмотря на относительную вышину табурета, голова сидевшего на нем человека возвышалась над столом таким образом, что его подбородок приходился почти в уровень со столешницей.

Два горба, спереди и сзади, придавали его туловищу вид огромного яйца на тонких палкообразных ногах. Сморщенное, как печеное яблоко, лишенное всякой растительности лицо, производило отталкивающее впечатление, особенно усиливающееся полуоткрытым ртом с раздвоенной, так называемой заячьей верхней губой, из-под которой торчали два желто-зеленых больших клыковидных зуба.

Одет он был в пестрядинную рубаху, сквозь расстегнутый ворот которой виднелась волосяная грудь.

Целая шапка жестких мочалообразных волос была стянута ремнем, проходившим черной полосой по низкому лбу.

Маленькие, узко разрезанные глаза блестели каким-то зеленым огоньком, напоминая глаза попавшегося в засаду волка.

Лета этого странного существа определить было очень трудно, да никто никогда и не справлялся о его летах.

Знали только, что он пришел и поселился в сторожке вместе с Пахомычем, как звали старого сторожа, еще в то время, когда Таврического дворца не существовало, а на его месте стоял построенный Потемкиным небольшой домик, то есть около четверти века тому назад, и был таким же полутора-аршинным горбуном, каким застает его наш рассказ.

Старик Пахомыч был привязан к нему, и «горбун», как звали его все, не исключая и старика-сожителя, так что его христианское имя было совершенно неизвестно, и едва ли не забыто им самим, – платил своему хозяину чисто животной преданностью, что не мешало ему подчас огрызаться и смотреть на Пахомыча злобными взглядами, как это делают плохо выдрессированные псы.

В последнем случае Пахомыч как-то странно вдруг стихал и ласково отвечал на визгливые крики «горбуна», исполняя по возможности прихоти и капризы своего странного сожителя.

Какая тайна лежала в основе близких отношений этих двух совершенно противоположных и физически, и нравственно людей?

Вопрос этот оставался загадкой для окружающих их слуг Таврического дворца.

Высокий, коренастый, атлетически сложенный Пахомыч, идущий рядом с достигающим ему немного выше колена «горбуном», представлял разительную картину контраста.

Добродушный, слабохарактерный и мягкий в обращении, как все люди, обладающие большой физической силой, старик, живущий много лет под одной кровлей с злобным, мстительным, готовым на всякую подлость «горбуном», являл собою неразрешимую психологическую задачу.

«Горбун» усердно тачал сапоги, казалось весь сосредоточенный в этой работе; только по чуть заметному движению торчащих больших тонких ушей было видно, что он находится настороже, как бы чего-то каждую минуту ожидая.

Вдруг со стороны сада раздался неистовый, полный предсмертной боли крик, ворвавшийся в полуотворенное окно сторожки. Горбун быстро поднял голову и как-то весь вытянулся.

Не прошло, казалось, и нескольких секунд, как в той же стороне сада, только как будто несколько далее, послышался продолжительный свист.

Горбун вскочил на ноги и обойдя стол начал тормозить за ногу заснувшего Пахомыча.

– А... что!.. – забормотал с просонья старик.

– Вставай, пойдем... – визгливым голосом, но тоном приказа произнес горбун.

– Куда? – приподнявшись на лавке, широко открытыми глазами посмотрел на горбуна Пахомыч.

– В сад...

– На кой туда ляд идти, – недоумевал старик. – И с чего это ты, горбун, закуралесил, какую ночь полунощничаешь... Петухи давно пропоют, а ему чем бы спать, работать приспичит... Чего теперь в саду делать. Кошек гонять, так и их, чай, нет; это не то, что при вечной памяти Григорие Александровиче... Царство ему небесное, место покойное!

Пахомыч истово перекрестился.

– Пойдем! – прервал разглагольствования старика горбун хриплым визгом и злобно сверкнул своими маленькими глазами.

– Ну, пойдем, пойдем, – вдруг смягчился старик и, спустив на пол ноги, стал натягивать в рукава шинель.

Медленно вышли они из сторожки. Горбун шел впереди, а Пахомыч покорно следовал сзади.

В саду уже было почти светло и группы деревьев с ярко-зеленной листвой, покрытой каплями росы, блестели, освещенные каким-то чудным блеском перламутрового неба. Кругом была невозмутимая тишина. Даже со стороны города не достигало ни малейшего звука. Ни один листок не шелохнулся и ни одной зыби не появлялось на местах зеркальной поверхности запущенных прудов.

Горбун шел твердой походкой, как бы хорошо зная цель своего пути. Наконец, они стали подходить к пруду, через который перекинут известный кулибинский механический мост.

Русский самоучка Кулибин делал этот мост, как модель, на дворе академии наук, в продолжении четырех лет. На его постройку Потемкин дал ему тысячу рублей. Мост предназначался быть перекинутым через Неву, но это не состоялось, а модель украсила волшебный сад Таврического дворца.

Не доходя нескольких шагов до моста, Пахомыч и горбун остановились. Около полуразвалившейся скамейки лежал труп молодой женщины. Для Пахомыча это было неожиданной, страшной находкой.

Была ли она таковой же для горбуна?

II

Мертвая красавица

Молодая женщина лежала навзничь.

Это была, в полном смысле слова, русская красавица. Темно-русая, с правильным овалом лица, белая, пушистая кожа которого оттенялась неуспевшим еще исчезнуть румянцем. Соболиные брови окаймляли большие иссиние-серые глаза, широко открытые с выражением предсмертного ужаса. Только их страшный взгляд напоминал о смерти перед этой полной жизни и встречающейся редко, но зато в полной силе, огневой русской страсти, молодой, роскошно развившейся женщины-ребенка.

На вид покойной нельзя было дать и двадцати лет. Высокая, стройная, с высокой грудью, она лежала недвижимо, раскинув свои изящные, белые руки.

По одежде она, видимо, принадлежала к высшему аристократическому кругу. На ней был одет «молдаван» (род платья, любимого императрицей Екатериной II) из легкой светлой шелковой материи цвета заглушённого вздоха (*soupir etcuffe*), отделанный блондами, мантилья стального цвета и модная в то время шляпка; миниатюрные ножки были обуты в башмачки с роскошными шелковыми бантами.

Изящные руки были унизаны кольцами и браслетами из крупного жемчуга или, как тогда его называли, «перло» с бриллиантовой застежкой. От красавицы несся аромат «душистой цедры», любимых духов высшего общества того времени.

Возле трупa валялись шелковые перчатки и длинная трость с золотым набалдашником, украшенным драгоценными камнями. Ни одного пятнышка крови не было на покойной, только белоснежная шея, повыше ожерелья, была насквозь проткнута длинной, тонкой иглой.

И Пахомыч, и горбун стояли несколько времени молча, созерцая эту страшную картину при фантастическом освещении белой ночи.

– Вот так находка... – притворно-удивленным тоном прервал молчание горбун, между тем, как чуть заметная змеиная улыбка злобного торжества скользнула по его отвратительным губам.

– Ты знал это, горбун? – строго промолвил Пахомыч.

– Я!.. – взвигнул тот. – С чего это ты взял, старый хрен?... Может сам этому греху причастен... старину вспомнил... а я, кажись, в смертоубойных делах не замечен...

– Ну, ну, пошел... я так, к слову, потому ты звал...

– Звал... – передразнил горбун. – Потому и звал, что крикнула она в саду благим матом...

На помощь спешил... опоздал...

В голосе его слышались ноты скрыто-злобного смеха.

– А... а... Так бы и сказал там, а то... я... – запинаясь, стал было оправдываться Пахомыч.

– А то ты... ворона... – перебил его снова горбун. – Ишь, красота-то писанная... и богатеяка, должно быть... Только чьих она будет?... – с искусно деланным соболезнованием продолжал он, наклоняясь к покойной, и своей грязной, костлявой рукой дотрагиваясь до ее нежного лица.

– Глянь-ко, может отдохнет... – заметил Пахомыч со слезами в голосе.

– Куда отдохнуть... Капут, коченеет... – отвечал, усевшись уже теперь у самого трупa, горбун.

– Болезная моя, молодая какая и такую смерть принять... И как он ее уколошил... кажись, никакого изъяна, лежит как живая...

– Я и сам сначала диву дался, ан дело-то просто... Глянь-ко сюда... Игла-то какая...

Пахомыч наклонился.

Горбун схватил двумя пальцами конец иглы, торчавшей из шеи, и с силой дернул.

Игла осталась в его руках, а на шее показалась густая капля крови.

– Сонную жилу он ей пропорол, да как ловко!.. – почти с наслаждением произнес горбун.

– Что же делать... по начальству бежать?.. – дрожащим от волнения голосом спросил Пахомыч.

Горбун даже вскочил на ноги.

– Ну, старина, ты, видно, совсем из ума выжил... Бог нам счастья посылает, может за наше житье нищенское милостями взыскивать, а он, поди-ж ты, к начальству... Надоело, видно, тебе на свободе гулять, за железную решетку захотел, ну и сиди посиживай, коли охота, а я тебе не товарищ... Налетит начальство, сейчас нас с тобой рабов Божьих руки за спину и на одной веревочке...

Горбун даже закашлялся, выпалив залпом такую сравнительно большую речь.

– Что же тут с ней поделаешь... и какое же это счастье?

– Что поделаешь, ворона московская, крыса седая... Второй век живешь, а ума не нажил даже на столько...

Горбун указал на кончик своего мизинца. Пахомыч молчал.

– Подь-ко ты, тут под мостом заступа лежат... возьми который покрепче...

Старик послушно отправился на указанное место, а горбун снова опустился на траву около трупа.

Через несколько минут Пахомыч вернулся с заступом в руках.

– Рой! – указал ему горбун на место по берегу пруда, в полутора шагах от трупа. – Схороним в лучшем виде... Траву-то обрежь осторожнее, пластом подними, потом на место положим... Следа через час не будет... а золото-то у нас...

– Не трожь... Что ты задумал... покойницу грабить!.. – крикнул Пахомыч, видя, что горбун хладнокровно возится у шеи трупа, стараясь растегнуть затейливый замок аграфа.

Тот поднял только голову и повернул в сторону Пахомыча свое безобразное лицо, с горящими как у волка глазами.

– Помолчи, старина. Я ведь давно молчу... – взвизгнул он. – И глуп же ты, как стоеросовое дерево, – продолжал он, несколько смягчившись. – На что ей в земле-то золото ее да камни самоцветы, да перлы... Помолчи, говорю, от греха, да не суйся не в свое дело... Копай, копай.

Старик молча продолжал работу, с далеко не старческой силой владея тяжелым заступом.

Он молчал, но крупные слезы выкатывались из его глаз при каждом ударе заступа о рыхлую землю.

Горбун, между тем, совершенно спокойно, неторопясь снял с трупа все драгоценности, не позабыв даже креста, оторвал кусок материи от мантильи и, завернув в него свою добычу, сунул его за пазуху.

Могила, между тем, была готова и горбун с помощью Пахомыча, старавшегося не глядеть на своего страшного товарища, бережно поднял покойницу и опустил в яму, которую они оба быстро засыпали землей, утоптали ногами и заложили срезанным дерном.

Через каких-нибудь полчаса все было приведено в такой вид, что ни один самый зоркий глаз не открыл бы следов произведенной работы.

Заросший зеленой травой берег казался нетронутым человеческою ногою. Все следы были тщательно уничтожены до мелочей внимательным горбуном.

Окончив работу, последний сам отнес на место заступ, но, вернувшись, не застал уже близ моста Пахомыча. Его атлетическая фигура будто бы уменьшившаяся и сгорбившаяся, виднелась вдали аллеи, ведущей в сторожку. Он шел медленным шагом, низко опустив голову.

Горбун насмешливо посмотрел ему вслед, открыл было рот, чтобы крикнуть, но, видимо, раздумал и махнул рукой. Он внимательно осмотрел снова место, где лежал труп и где он исчез под землю и вдруг его внимание привлекла лежавшая в траве трость.

Он поднял ее и долго рассматривал набалдашник. Золото и блестящие драгоценные камни, видимо, соблазняли его; была минута, когда он хотел обломать драгоценный набалдашник и уже сжал его в руке, но затем раздумал и с тростью в руках направился к мосту.

Подойдя к нему, он не вошел на него, а спустился к пруду и стал пробовать тростью рыхлость береговой земли. После нескольких проб он нашел место, где трость вошла беспрепятственно в глубь во всю свою длину. Последним исчез блестящий набалдашник.

Спустившись еще ближе к воде, он выбрал один из самых крупных лежавших там камней и с усилием стал втаскивать его наверх. Камень подавался туго. С горбуна градом лил пот.

– Ишь, чертова ворона, распустил нюни и пошел к себе в берлогу, медведь сиволапый... – ворчал он себе под нос.

Эти ругательства были, конечно, по адресу Пахомыча.

Наконец, кое-как ему удалось втащить камень и положить его на место, где была воткнута трость. Он сделал последнее усилие и вдавил камень на половину в землю, чтобы он не скатился вниз и казался бы давно лежавшим на этом месте.

– Уж и возьму я с вас магарыч, ваше сиятельство, такой магарыч, что не поздоровится вашей милости! – проговорил вслух горбун, подолом рубахи вытирая мокрый от пота лоб.

Вдруг он взглянул на мост и остолбенел.

III

Привидение

Поднявшись на дорожку сада, после окончания своей последней работы, горбун оглянулся посмотреть, не бросается ли в глаза перемещенный им на другое место камень, и вдруг увидел идущую по мосту высокую женскую фигуру, одетую во все белое.

Фигура шла прямо на него, как бы не замечая его, скользящей походкой, так что не было слышно даже малейшего шороха ее шагов.

Он остановился выждать этого непрошеного свидетеля быть может всей его преступной работы. В голове его уже возник план нового преступления, как вдруг на более близком расстоянии он разглядел лицо женщины.

Это была она, только что зарытая им красавица...

Панический ужас объял горбуна, и вполне убежденный, что он имеет дело с выходцем с того света, борьба с которым была бы бесполезна, он опрометью пустился бежать по направлению к сторожке.

Белая женщина, между тем, спустилась в аллею, прошла по ней той же легкой, едва касавшейся земли походкой, повернула в глубь сада в противоположном конце и скрылась среди зелени.

Горбун, которому казалось, что за ним гонится «мертвая красавица», бледный как полотно, дрожащий от страха, влетел в сторожку и скорее упал, нежели сел на скамью.

Пахомыч не спал. Он стоял на коленях перед висевшим в переднем углу большим образом с потемневшими фигурами и ликами изображенных на них святых и усердно молился, то и дело кладя земные поклоны.

Огарок свечи догорел и потух и в два окна сторожки глядела белая ночь, освещая фантастическим полусветом незатейливое убранство жилища Пахомыча и горбуна.

Царила мертвая тишина, нарушаемая лишь стуком зубов все еще не пришедшего в себя от страха горбуна, да шепотом Пахомыча. Так прошло около получаса.

Горбун пришел в себя.

– Пахомыч... а... Пахомыч... – почти ласково пискнул он.

Старик, последний раз размашисто перекрестившись и положив земной поклон, встал и обернулся к говорившему.

– Ась?..

– Ведь она ходит...

– Кто она? – с недоумением спросил Пахомыч.

– Да та, которую мы зарыли...

– С нами крестная сила... Да что ты, горбун, плетешь несуразное!?

– Какое там несуразное... сам видел ее... идет это по мосту, гуляючи с прохладцей... Насилу убег... до сих пор отдышаться не могу... Напужался... страсть...

– Коли так, грех большой на душу мы с тобой положили... Это ее душенька гроба ищет... Без гроба да без молитвы, как пса какого смердящего в яму закопали... погоди, дай срок, она еще тебя доймает...

Старик сказал это голосом, в тоне которого слышалось полное убеждение.

Горбун вздрогнул и стал пугливо озираться кругом.

– А я тут, молясь, вот что надумал... Недаром это, сам Господь вразумил меня... Пойдем-ка мы с тобой, горбун, по святым местам, может Господь сподобит на Афон пробраться, вещи-то, что снял, пожертвуем во храм Божий на помин души боярыни... может знаешь, как имя-то...

– Зинаиды, – совершенно машинально сказал горбун.

– Болярыни Зинаиды, вот ее душенька и успокоится.

– Зинаиды? – вдруг переспросил горбун и глаза его снова блеснули гневом. – А ты почему знаешь?..

– Да ведь ты сам сейчас сказал: Зинаиды, – робко заметил Пахомыч.

– Я, – протянул горбун. – Ты, видно, на меня как на мертвого клеплешь... Я почему знаю, как ее звать... в первый раз, как и ты, в глаза видел... Ты, старик, меня на словах ловить брось, я тоже ершист, меня не сглотнешь...

– Кто тебя сглотнуть хочет... Я о душе ее забочусь, потому будет она бродить теперь по этим местам... гроб искать...

– Ну и пусть себе бродит, а я уйду...

– Вот и я о том же, чтобы уйти, святителям поклонится...

– Да ты и ступай, кто тебя держит, – сказал горбун.

– Ой ли... отпустишь? – с тревогой в голосе спросил Пахомыч.

– Иди, замаливай и об ее, и о моей душе... Отныне я тебя из кабалы освобождаю... мне теперь другая дорога, хочу всласть пожить... своим домком, женюсь...

– Женишься... ты?.. – даже отступил на несколько шагов пораженный Пахомыч.

– Ну да, я... Ты думаешь, некрасив, да стар, да горбат, так я тебе скажу, что коли горб мой золотом набит, то чем больше он, тем лучше... любая кралечка пойдет... Одна уже есть на примете...

Игривые мысли о будущей молодой жене совершенно изгладили из ума горбуна впечатление, произведенное на него привиденьем. Его рот даже скривило в плотоядную улыбку. Но улыбка эта была отвратительна.

– Так мне, значит, можно и идти?..

– Говорю иди... хоть завтра.

– Вот за это спасибо... душевное спасибо... – со слезами радости воскликнул старик и поклонился горбуну до земли.

– Иди, иди, только ларец мне оставь... Тебе его на что... Старому человеку везде есть и кров, и кусок хлеба... Христовым именем весь мир обойдешь...

– Возьми... Возьми... Я до него и дотрагиваться за грех почитаю, еще тогда отдавал его тебе, да ты не взял...

– Тогда, тогда несподручно было, потому и не взял... Хозяин его всем был на памяти... а теперь, сколько воды утекло... Все перемерли...

– Так я завтра и в путь...

– Иди, иди... коли охота... А может, у меня век доживешь, в холе да в довольстве... да не в такой избушке, а в хоромах княжеских...

– Нет, нет! – замахал руками Пахомыч. – Коли отпустил душу на покаяние, от слова своего не отрекайся... Обет я дал уже давно, по обету иду в странствия.

– Я и не отрекаюсь от слова, но только предлог сделал: «вольному воля, спасенному – рай».

– Нет уж отпусти...

– С Богом, говорю с Богом...

Старик снова поклонился в землю.

В окно сторожки уже глядело настоящее майское утро. Горбун встал со скамьи и направился в угол, где на широкой скамье был устроен род постели.

– Ларец-то где? – на ходу спросил он.

– Все там же... – нехотя отвечал Пахомыч.

Горбун пошарил под скамьей и вытащил небольшой ларец окованный серебром.

– Ключ?

– За образом.

Поставив ларец на постель, он подошел к переднему углу и взобравшись на скамью, достал с полки, на которой стоял образ, серебряный ключ.

Возвратившись в свой угол, он отпер ларец. Он оказался наполовину наполненным бумагами и золотыми монетами.

Горбун вынул из-за пазухи сверток с вещами покойницы, зарытой в саду, бережно развернул его и тщательно начал укладывать в ларец вещи.

Уложив, он прикрыл их куском шелковой мантильи, запер ларец и ключ нацепил на шнурок тельного креста.

Сняв со стены, висевшую на гвозде кожанную котомку, он уложил ларец между хранившимся там сменами рубаш и портов и снова повесил котомку на стену.

Пахомыч молча глядел на все происходившее, и когда ларец исчез в котомке горбуна, вздохнул с облегчением и истово перекрестился.

Горбун, убрав ларец, примостился на свою убогую постель и вскоре сторожка огласилась храпом.

Люди порой спят крепко и с нечистой совестью. Если бы это было иначе, добрая половина человечества страдала бы бессонницей.

Пахомычу было не до сна. Он был счастлив; он был свободен почти после четвертивековой кабалы.

Даже выражение лица его изменилось. Во взгляде старческих глаз появилась уверенность – призрак зародившейся в сердце надежды. В душе этого старика жила одна заветная мечта, за исполнение которой на мгновение он готов был отдать последние годы или лучше сказать дни своей жизни, а эти годы и дни, говорят самые дорогие.

Жизнь приобретает особую прелесть накануне смерти. Ему не приходило и в голову, что сладко спящий горбун готовит ему горе, которое будет более тяжелым, нежели та кабала, в которой он держал его в течение века. Это горе, если он не узнает его при жизни, заставит повернуться в могиле его старые кости.

Он тоже занялся укладыванием своей котомки, давно уже справленной им в ожидании этого, теперь наступившего, желанного дня свободы. Взошло солнце и целый сноп лучей ворвался в окно сторожки. Пахомыч лег на лавку, подложив под голову свою будущую спутницу-котомку и закрывшись с головой шинелью.

Вскоре заснул и он.

IV

Орден мальтийских рыцарей

Горбун проснулся, когда солнце уже довольно высоко стояло над горизонтом. Был девятый час утра. Горбун лениво поднялся со своего незатейливого ложа. Непривычно поздний сон, сопровождаемый кошмарами, видимо, утомил его и он проснулся с тяжелой головой.

Протерев обеими руками глаза, он оглядел сторожку и взгляд его остановился на лавке, где с вечера лежал Пахомыч и на которую лег ночью. Лавка была пуста. На губах горбуна появилась насмешливая улыбка.

– Стреканул уж, старина, обрадовался... ну, да шут с ним, теперь мне не до него... Пусть молится...

Он быстро перевел взгляд на стену: его котомка висела на прежнем месте, котомки Пахомыча не было.

Горбун, неспеша, оделся и обулся, и перекинул на плечо свою котомку, даже не посмотрев, цел ли в ней заветный ларец. Он был вполне уверен, что Пахомыч до него не дотронется.

Взяв в руки шапку, он направился к двери, и остановившись у порога, в последний раз оглянул каморку, как бы соображая, нельзя ли еще чего-нибудь захватить из нее, но затем махнул рукою и вышел.

Сторожка была невдалеке от ворот Таврического сада.

Очутившись на улице, горбун быстрым, уверенным шагом пошел по направлению к Невской перспективе, как тогда называли Невский проспект, а затем повернул направо и, дойдя до Садовой улицы, повернул за угол и уже более тихим шагом пошел по этой улице. Он шел недолго и вскоре скрылся в воротах дома Воронцова.

По уверенности, с которой он вошел во двор этого дома, видно было, что он бывал здесь не первый раз и знает хорошо все входы и выходы.

Дом Воронцова, этот великолепный дворец, построенный графом Растрелли, в котором ныне помещается Пажеский корпус, был, во времена жизни его владельца вице-канцлера графа М. И. Воронцова, одним из грандиознейших зданий столицы, принадлежащих частным лицам.

Он был окончен постройкой при Екатерине I, на родной сестре которой, Анне Карловне Скавронской, был женат граф Воронцев.

В 1763 году императрица Екатерина купила его за 217 тысяч рублей и до осени 1770 года он стоял пустым.

В этом году там отвели квартиру принцу Генриху Прусскому, брату Фридриха II, затем в нем жил принц Нассау-Заген, адмирал русского флота, известный своими победами над шведскими морскими силами, а после него дом этот занимал вице-канцлер граф Иван Антонович Остерман.

В народе его называли «канцлерским домом».

Император Павел подарил его великому русскому приорству рыцарей мальтийского ордена, к которому относился с особым благоволением и желал сохранить его в пределах России, «яко учреждение полезное и к утверждению добрых правил служащее».

Помещение было просторно и удобно, но роскошь отделки несколько не соответствовала обители целомудренных и смиренных рыцарей.

Великолепная двойная лестница, украшенная статуями и зеркалами, вела во второй этаж, плафоны обширных комнат которого были расписаны лучшими художниками самыми соблазнительными картинами, изображавшими сцены из Овидиевых превращений, с обнаженными богинями и полубогинями и другими сюжетами из греческой мифологии.

В одной из комнат на потолке было изображено освобождение Персеем Андромеды.

Без всяких покровов, прелестная Андромеда стояла, прикованная к скале, а перед ней Персей, поражающий дракона.

Монашествующие рыцари проходили мимо этих эротических картин, скромно опустя очи долу, хотя, не скроем, вероятно, исподтишка, каждый насмотрелся на них вдоволь.

Люди всегда люди – рабы соблазна, представляемого женщиной.

Мальтийские же рыцари – эти полувоины, полумонахи, несмотря на их строгий устав, не отличались особыми строгими правилами, подчиняясь нравственному уровню тогдашнего общества Западной Европы и России.

Расскажем вкратце историю ордена мальтийских рыцарей или, как он именовался в начале своей деятельности, святого Иоанна Иерусалимского.

Происхождение его было более чем скромное. В конце IX века в Сиенне был основан первый странноприимный монашеский орден.

По его образу Герард Том, провансалец, учредил такой же в Иерусалиме, при церкви святого Иоанна Крестителя, построенной купцами из Амальфы.

Через короткое время орден этот обратили в общину рыцарей и около ста лет находился он на месте своего учреждения.

В 1306 году, при великом магистре ордена Фолькон де Вилларет, рыцари завоевали остров Родос, получивший свое греческое название от множества растущих на нем роз.

На Родосе рыцари прожили до 1521 года, когда остров был взят турецким султаном Солиманом.

Сопротивление рыцарей было беспримерное и защита Родоса – золотая страница в истории рыцарства святого Иоанна Иерусалимского.

Лишенные острова Родоса, рыцари остались без пристанища и перекочевывали из города в город, пока наконец римско-немецкий император Карл V подарил им остров Мальту, прославленный чудесами апостола Павла.

Этот дар был не без обязательств.

Иоанниты приняли на себя обязанность непрестанно вести борьбу с мусульманами и морскими разбойниками.

В ордене с течением времени установилось три разряда членов: «*Servienti d'arti*» – военное служанье, настоящие рыцари или кавалеры, и священники.

От желающих вступить в число действительных рыцарей с самого основания ордена требовалось доказательство благородного происхождения.

В прежнее время не нужно было представлять подробные родословные, но когда дворяне стали заключать неравные браки, то от кандидатов в рыцари стали требовать сведения не только об отце и матери, но и двух восходящих поколениях, которые должны были принадлежать к древнему дворянству и по фамилии, и по гербу.

Детей банкиров постановлено было не принимать в число рыцарей, хотя бы эти банкиры и были бы древнего, незапятнанного неравными браками рода.

Тоже постановление было и о детях лиц, занимавшихся вообще торговлею или присвоивших и невозвративших какое-либо имущество ордена.

Все лица, удовлетворявшие генеалогическим требованиям, получали рыцарское звание по праву рождения: «*cavalieri di giustitia*».

Кроме этих существовали еще «*cavalieri di grazia*» – это те, которым звание рыцаря, по усмотрению великого магистра ордена, было предоставлено в виде милости.

Ни в каком, однако, случае не было доступно звание рыцаря хотя бы самому отдаленному потомку еврея.

От военнослужащих, то есть от «*servienti d'arti*», не требовалось доказательства дворянского происхождения, но лишь свидетельство о том, что отец и дед вступавшего не были рабами и не промышляли каким-либо художеством или ремеслом.

Устройство ордена в начале было монашеское. Одежду рыцарей составляла черная суконная мантия, по образцу одежды святого Иоанна Крестителя, сотканной из верблюжьего волоса, с узкими рукавами, эмблемой потери свободы рыцарем. На левом плече мантии был нашит большой восьмиконечный крест из белого полотна – символ восьми блаженств, ожидавших праведника за гробом.

Когда же орден иоаннитов обратился в военное братство, то для рыцарей был введен красный супервест, с нашитым на груди, так называемым, мальтийским крестом.

Сверх супервеста надевались блестящие латы.

Рыцарскую одежду могли носить только те, кто были посвящены в рыцарский сан, и кроме того, по орденским статутам, независимые государи и те из знатнейших дворян, которые, при их набожности и других добродетелях, вносили в казну братства 4000 скуди золотом.

Женщины, принадлежащие к ордену, носили длинную черную одежду с белым восьмиконечным крестом на груди, черную суконную мантию с тем же крестом на левом плече и черный остроконечный клобук с черным покрывалом.

Великий магистр ордена, избираемый при особенно торжественной обстановке из числа рыцарей, поступивших в орден по праву рождения, считался державным государем, в каковом качестве он сносился с другими государями и имел при их дворцах своих представителей; рыцари целовали у него руку, преклоняя перед ним колено. Статут предписывал «усиленно» молиться за него.

При богослужении читалась о нем следующая молитва: «Помолимся, да Господь Бог наш Иисус Христос просветит и наставит великого нашего магистра (имя рек) к управлению странноприимным домом ордена нашего и братии нашей и да сохранит его на многая лета».

В числе особенных прав, принадлежащих великому магистру, было право позволять рыцарям «пить воду», чего, после вечернего колокольного звона, никто кроме него разрешить не мог.

Орден делился на восемь языков или наций. Собрание одного языка составляло великое приорство того же государства и от него получало содержание.

Великое приорство делилось на несколько приоратов, которые, в свою очередь, разделялись на бальяжи или командорства, состоявшие из недвижимых имений разного рода, и владельцы таких имений, как родовых, так и орденских, носили титул бальи или командоров.

По введении в Англии реформации, язык великобританский, как нации уже не католической, считался упраздненным до тех пор, пока Англия не присоединится опять к святой церкви.

Великий магистр, управлял делами ордена при содействии священного капитула, состоявшего из членов, избранных по два от каждого языка.

Капитул собирался в заседание после обедни, причем были носимы перед великим магистром флаг и знамя ордена.

Члены капитула, перед открытием заседания, целуя руку великого магистра, подавали ему кошельки, на которых было назначено имя каждого члена. В них находилось по пяти серебряных монет, называвшихся «жанетами».

Подача денег великому магистру означала отчуждение рыцарей от их собственности.

В эти же кошельки клались записки членов капитула с их мнениями относительно дел, подлежавших обсуждению капитула.

Одним из правил, введенных при самом основании ордена, было общежитие. Жившие вместе рыцари составляли «конвент».

На практике, однако, было сделано отступление от этого правила, и от рыцаря требовалось только, чтобы он пять лет кряду или хотя разновременно, но в общей сложности то же число лет, пробыл в «конвенте».

Без особого дозволения великого магистра, вне его местопребывания, города Лавалетты, не мог ночевать ни один рыцарь, живший в «конvente».

За общей рыцарской трапезой отпускалось на каждого рыцаря в день один фунт мяса, один графин вина и шесть хлебов. В посты мясо заменялось рыбою.

Кроме обета человеколюбия, рыцари давали обет искоренения «магометанского исчадия».

Они были обязаны обучаться военному искусству и совершить, по крайней мере, пять, так называемых, «караванов».

Под последним словом подразумевалось плавание на галерах ордена с 1 июля по 1 января или с 1 января по 1 июля, так что в общем, каждый кандидат в рыцари должен был проплыть в море два с половиною года.

Пребывание в «караванах» считалось «искусом». После него «новициат», удовлетворявший всем условиям, принимался в число рыцарей, с соблюдением торжественных обрядов.

Он приносил обеты послушания, целомудрия и нищеты и давал клятву положить свою жизнь за Иисуса Христа, за знамение животворящего креста и за своих друзей, то есть за исповедующих католическую веру.

В силу обета целомудрия, мальтийский рыцарь не только не мог быть женат, но даже не мог иметь в своем доме родственницы, рабы или невольницы моложе пятидесяти лет.

V Юность Павла

Собрание рыцарей мальтийского ордена, принадлежащих к русскому приорству, и происходило в роковую ночь в «канцлерском доме».

В описываемое нами время, то есть в первые два года царствования императора Павла Петровича, орден мальтийских рыцарей нашел себе прочную почву, если не в России, то в Петербурге, и пустил в приневской столице глубокие корни.

Причину такого прочного положения католического учреждения в православной России следует искать в характере императора Павла Петровича, увлекавшегося всякого рода обрядностями и склонного, по натуре своей и воспитанию, ко всему идейному, таинственному, мистическому.

Еще будучи мальчиком, великий князь с восторгом читал и перечитывал знаменитое в то время сочинение аббата Верто: «*Histoire des Chevaliers Hospitaliers de St. Jean de Jerusalem, appelles depuis les Chevaliers de Rhodes et aujour d'hui les Chevaliers de Malte*».

Книга эта пользовалась очень долго замечательным успехом среди образованных людей Европы.

Хотя аббат Верто в своей книге отвергал все легендарные сказания, переходившие без всякой проверки через длинный ряд веков, от одного поколения к другому, и говорившие о непосредственном участии Господа и святых угодников, как в военных подвигах, так и в обиходных делах мальтийского рыцарского ордена, юный читатель именно и воспламенял свой ум таинственной стороною истории рыцарского ордена, и верил, несмотря на сомнительный тон самого автора, во все чудеса, совершенные будто бы свыше во славу и на пользу этого духовно воинственного учреждения.

С трепетом и благоговением читал он рассказ о том, как однажды трое благородных рыцарей, по их усердным молитвам, перенесены были какою-то невидимою силой в одну ночь из Египта на их отдаленную родину – в Пиккардию.

Если бы римская курия знала, как подобные книги действуют на юные умы, то, быть может, она не распорядилась взять ее «sub index», то есть книга не была бы внесена в список нечестивых, крайне опасных для верующих сочинений, и римско-католические церковные власти не подвергали ее такому ожесточенному гонению.

Впрочем, быть может, сами гонители хорошо знали, что все гонимое и запрещенное возбуждает интерес и в данном случае не ошиблись.

Книга «аббата-революции», как прозвали Верто, благодаря именно этим преследованиям, получила громадную известность у многочисленных усердных читателей.

Кроме чудесного и таинственного, великого князя-мальчика увлекала в книге и торжественная обрядовая сторона мальтийского рыцарства.

Он не мог наглядеться на приложенные к книге великолепно гравированные портреты, изображавшие разных знаменитых рыцарей ордена, в золотых доспехах и в мантиях, и подолгу рассматривал находящиеся под каждым портретом гербы, увенчанные коронами, шлемами и кардинальскими шапками, осененными херувимами и знаменами, украшенные военными трофеями и обвитые лаврами и пальмовыми ветвями.

В чтении этой книги он находил пищу для своего воображения, с помощью которого переносил себя в отдаленные страны, воображая себя рыцарем, избивающим неверных и достигающим славы и почестей, и таким образом уносился мечтой от своей, несмотря на его высокое рождение, неприглядной, однообразно-скучной обстановки.

Проследим детство и юность великого князя, чтобы убедиться, что судьба его была действительно более чем печальна.

Императрица Елизавета Петровна очень обрадовалась рождению Павла Петровича – наследника престола и, устранив его мать, сама взяла на себя все о нем заботы и попечения.

На первых порах ее двоюродный внук был, казалось, ее единственным утешением: она холила и нежила его и по целым дням забавлялась ребенком.

Но это высокое попечение, при отсутствии правильных понятий о первоначальном уходе за ребенком, не могло иметь хорошего влияния на великого князя.

К тому же, вскоре императрица, отличавшаяся непостоянством своего характера, охладела к ребенку и он был передан на бесконтрольное попечение ее приживалок.

Последствием этого было то, что за августейшим ребенком не было даже такого ухода, какой бывает за детьми в обыкновенных, со средним достатком, семьях.

Будущий наследник престола вывалился однажды из люльки и всю ночь проспал на голом полу, никем незамеченный.

Но не в этом было главное зло первоначального воспитания великого князя. Отрицательные качества физического воспитания были каплями в море положительного нравственного вреда нянчивших ребенка женщин.

От этих приставниц привились к нему суеверие и предрассудки, а их глупые рассказы дали ложное направление его умственному и нравственному развитию.

Они вконец расстроили его необыкновенно пылкое воображение – он научился от них верить в сны, приметы и гаданья.

Он боялся оставаться впотьмах, и эта боязнь, почти болезненная, осталась в нем даже в зрелые годы.

В ранних годах нервы его были в конец расшатаны – гром и молния заставляли его дрожать всем телом, он вздрагивал даже при скрипе неожиданно отворенной двери, при каждом стуке и шорохе.

Мамки и няньки пугали его и чертом с хвостом, и бабой-ягой – костяной ногой, пророком Ильей, разъезжающим на огненной колеснице, и наконец самой императрицей Елизаветой Петровной.

К последней ее внук чувствовал положительно панический страх – он не шел на ее зов и ревел благим матом, когда у ней являлось желание его приласкать.

Это конечно, восстанавливало ее против упрямого ребенка – она не доискивалась причин такого странного упрямства.

Такое запугивание не только вымыслами фантазии, но и живыми людьми сделало из общительного по природе ребенка дикаря-нелюдима, и это свойство Павел Петрович не мог побороть в себе и в более зрелые лета никакими усилиями. Он стеснялся малознакомых ему людей и избегал большого общества.

Первым учителем великого князя Павла Петровича был Федор Дмитриевич Бехтерев, преподававший ему русскую грамоту и арифметику по довольно своеобразной методе, посредством деревянных и оловянных куколок, изображавших солдат разных родов оружия.

Каждая из этих куколок была помечена буквами русской азбуки или цифрами.

Бехтерев приказывал своему ученику ставить солдатиков попарно, в шеренги и повзводно и, таким образом, выучил его сперва буквам, затем складам, слогам, словам и целым фразам.

Также шло и преподавание арифметики.

Такое преподавание продолжалось довольно долго.

Наконец, в качестве главного воспитателя наследника престола был назначен граф Никита Иванович Панин, прогнавший весь штат мамок и нянек и отличавшийся строгостью к своему воспитаннику. Он не стеснялся с ним, журил его и даже прикрикивал на него и отдавал ему приказания резким тоном, который впоследствии усвоил и сам Павел Петрович.

Ближайшим наставником великого князя вместо Бехтерева был сделан молодой, прекрасно образованный офицер Семен Андреевич Поропщи, отличавшийся, к сожалению, чрезмерною снисходительностью к своему ученику, доходившей до неуместной слабости.

Метод запугивания сменился игрой на самолюбии великого князя, для чего воспитатели прибегали даже к таким далеко не благовидным средствам, как подлог и обман.

Удерживая великого князя от дурных наклонностей и поступков, они говорили ему, что Европа смотрит на него, что во всех государствах знают о каждом его поступке, недостойном высокого сана наследника русского престола, так как об этом немедленно печатается в иностранных газетах.

По временам, для вящего убеждения воспитанника, нарочно печаталось несколько экземпляров заграничных ведомостей, в которых помещались, в виде сообщений из Петербурга, сведения об образе жизни наследника престола, его занятиях науками, играх и шалостях.

Выдумка эта заставила самолюбивого мальчика учиться и вести себя хорошо, но имела и дурные последствия; когда проделка воспитателей со временем открылась, в уме царственного юноши укоренилась мысль, что даже самые честные, по-видимому, люди, окружающие высоких особ, способны на хитрость и обман.

Это было зерном той страшной подозрительности, которую в более зрелых годах отличался Павел Петрович и которая была так тяжела не только для окружающих его, но даже для него самого.

Воспитание и образование наследника шло, однако, очень успешно. Великий князь отличался выдающимися способностями и любознательностью, превосходно говорил по-французски, легко объяснялся по-немецки, хорошо знал славянский язык, а латинский настолько, что мог читать в подлиннике Горация и вести даже на этом языке отрывочные разговоры.

Верховая езда, фехтование и танцы были также предметами тщательного изучения.

Обстановка Павла Петровича вне учебной комнаты далеко не способствовала тому, чтобы характер его принял хорошее и твердое направление.

Свои первые впечатления он получил среди того ханжества, которым отличался двор императрицы Елизаветы Петровны в последние годы ее царствования, когда истинно религиозное чувство сменилось одной обрядностью.

В кратковременное царствование Петра III он был совершенно забыт.

Доходивший до него гул государственного переворота, известие о смерти отца, замысел Мировича, московский бунт – действовали впечатлительно на его восприимчивую душу.

В день празднования его совершеннолетия и брака с великою княгиней Наталею Алексеевною, было получено известие о появлении самозванца под именем Петра III, а затем начался Пугачевский бунт.

Все это в довольно непривлекательном свете выставляло перед ним его будущих подданных, и великому князю невольно вспоминались слова и речи его воспитателя, графа Панина, поклонника всего прусского, старавшегося унижить русских людей перед их будущим государем, любившего «морализировать» о их непостоянстве и легкомыслии и внушавшего своему воспитаннику, что «государю кураж надобен».

Императрица Екатерина не любила своего сына и последний платил ей тою же монетою – факт противоестественный, но факт.

Она считала потерянным тот день, когда была обязана, по этикету двора, видеть своего сына.

Царедворцы старались под разными предлогами не присутствовать при этих свиданиях. Они не знали как держать себя.

Искренняя преданность и должное уважение, оказанные наследнику, могли произвести неприятное впечатление на императрицу.

Вынужденная покорность, холодная и натянутая учтивость могли быть не забыты их будущим повелителем.

– Ну, слава Богу, гора свалилась с плеч! – говаривала Екатерина, когда Павел Петрович уезжал в свои резиденции – Павловск или Гатчину.

Смерть нежно любимой первой супруги наследника престола – Натальи Алексеевны произвела на него страшное впечатление.

Вскоре, однако, по настоянию императрицы, состоялся его брак с Марией Федоровной, которую Бог благословил многочисленным потомством.

Императрица Екатерина не позволяла своему сыну и его супруге иметь при себе ни одного из детей.

Он страдал как супруг, видя скорбь своей жены-матери, и как отец.

Он тяготился бездеятельностью, а между тем его отстраняли от всякого дела.

Когда во время турецкой войны он попросил позволения государыни отправиться в армию Потемкина в скромном звании волонтера, Екатерина не позволила ему этого, под предлогом скорого разрешения от бремени его супруги, и выразила опасение, что южный климат повредит его здоровью.

Огорченный этими возражениями, Павел Петрович не без раздражения спросил у матери:

– Что скажет Европа, видя мое бездействие в военное время?

– Она скажет, что ты послушный сын! – спокойно и равнодушно отвечала императрица.

Отпущенный затем императрицей на театр шведской войны, он был быстро отозван обратно.

Обреченный жить вдали от государственной и военной деятельности, он весь отдался занятию с гатчинским гарнизоном, где, под влиянием своего воспитателя графа Панина, завел прусские порядки, но эти занятия, не удовлетворяли его вполне.

На досуге он обдумывал разные проекты и предложения, относившиеся к порядку государственного управления, подготавливая их к тому времени, когда ему, по воле Провидения, перейдет верховная власть.

Будучи знатоком французской литературы, он увлекался господствующими в ней тогда идеями об обновлении человечества в политическом и нравственном отношении и увлечение этими идеями рождало в нем сочувствие к тем тайным и явным обществам, которые хотели осуществить эту задачу.

Еще в 1782 году, в Венеции, он говорил однажды графине Розенберг:

– Не знаю, буду ли я на престоле, но если судьба возведет меня на него, то не удивляйтесь тому, что я начну делать. Вы знаете мое сердце, но вы не знаете людей, а я знаю, как следует их вести...

6 ноября 1796 года императрицы Екатерины не стало.

Великий князь Павел Петрович сделался императором.

Получив верховную власть, он задумал, между прочим, преобразовать к лучшему русское общество, введением в него рыцарских элементов.

Он надеялся, что этим способом ему удастся достигнуть его политических и социальных целей, и со свойственной ему пылкостью начал прививать в России мальтийское рыцарство, полагая, что оно получит у нас обширное развитие и повлияет благотворно на весь наш быт.

Такова причина не только появления, но даже и упроченного положения католического ордена мальтийских рыцарей в православной России в царствование Павла Петровича.

VI Император Павел

С самых первых дней царствования Павла Петровича Петербург, как бы по мановению какого-то волшебного жезла, изменил свою физиономию.

Жизнь столицы всегда есть отражение жизни двора. Пышность и роскошь двора покойной государыни сменилась простотой и скромностью жизни нового императора и его семейства.

На содержание двора при императрице Екатерине расходовались огромные суммы, которые не столько употреблялись по назначению, сколько расхищались нижними дворцовыми чинами.

Это было известно всем и более всех цесаревичу Павлу Петровичу. Поэтому, по вступлении на престол, он прежде всего пожелал искоренить это зло.

По его распоряжению были уничтожены отдельные обеденные столы для государя, для цесаревича, для великих князей и для великих княжен.

Был установлен один общий стол для государя, его семейства и близких особ, и другой – кавалерский, для прочих дежурных чиновников и офицеров. Отдавая это приказание, император сказал следующие знаменательные слова:

«И последний дворянин находит удовольствие в том, чтобы есть всегда вместе с его детьми и семейством; для чего же мне этого не делать? Я такой же отец семейства и хочу также иметь удовольствие обедать и ужинать вместе с женою и детьми...»

Живя более чем скромно, он требовал того же от своих подданных. Это была не скудость, а благоразумие. Доказательством чему служит то, что государь до вступления своего на престол, будучи великим князем, сам испытывал нужду доходившую до крайности, а потому, чтобы во время его царствования не могли того же испытать его супруга и наследник, назначил им жалованье: супруге двести тысяч, наследнику сто двадцать тысяч, а супруге его пятьдесят тысяч рублей в год.

Жалование это было, однако, назначено недаром. Государь поручил им и должности.

Императрицу он сделал директрисой Смольного монастыря, а наследника – при себе генерал-адъютантом, а затем и первым генерал-губернатором Петербурга.

Прежде всего государь начал искоренять роскошь среди гвардии.

Для содержания себя в Петербурге гвардейскому офицеру требовалось очень много. Ему нельзя было обойтись без содержания шести или, по крайней мере, четырех лошадей, без хорошей и дорогой новомодной кареты, без нескольких мундиров, из которых каждый стоил 120 рублей, без множества статской дорогой одежды: фраков, жилетов, сюртуков, плащей и ценных шуб и прочего.

Только богатые и могли нести эту убыточную службу, люди же со средним достатком, тянувшиеся за товарищами, входили в неоплатные долги и разорялись.

Император разом покончил с этим ненормальным явлением военной жизни.

Он уничтожил богатые мундиры гвардейцев, заменив их мундирами из недорогого зеленого сукна, со стамедовой подкладкой и белыми пуговицами. Стоимость такого мундира была 22 рубля.

Штатское платье носить было запрещено, да и в модах, как мужских, так и женских, произведен поворот к простоте и скромности. Пышность выездов запрещена.

Объявленная воля государя относительно гвардейцев повлияла и на гражданских чиновников и не служащих дворян.

Они, в угоду государю, бросили излишнюю роскошь и стали придерживаться во всем умеренности и степенности. Добрый пример делает подчас чудеса.

Образ жизни государя также, конечно, отразился на образе жизни столичных обывателей.

Вставал государь не позже пяти часов и обтершись, по обыкновению, куском льда и поспешно одевшись, до шести часов, помолившись Богу, слушал донесения о благосостоянии города, отдавал приказания по делам дворцового управления.

С 6 до 8 занимался государственными делами с первыми сановниками государства и затем два часа верхом или в санях ездил по городу, заезжая невзначай и совершенно неожиданно в разные присутственные места и казармы. По возвращении домой в 10 часов он до 12-ти занимался учением гвардии, принимал просьбы и совещался с военными начальниками.

В двенадцать часов он возвращался в комнаты, где уже в столовой были накрыты столы с закуской и водкой. Все бывшие на разводе свободно пили и закусывали. После закуски, когда посторонние удалялись, государь с семьей и близкими садился обедать.

После обеда государь отдыхал до трех часов, а затем снова отправлялся кататься по городу.

С пяти до семи он снова занимался государственными делами, а час, с семи до восьми, посвящал своему семейству.

В восемь часов государь ужинал и ложился спать. В это время во всем городе не было уже ни одной горящей свечки.

С такими порядками жизни своего государя, конечно, должны были сообразоваться все сановники и служащие, а потому в течении нескольких дней в Петербурге переменялся совершенно род жизни. День сделался опять днем, а ночь – ночью.

Были, конечно, недовольные, но большинство с восторгом созерцало своего трудолюбивого монарха.

Восторг этот дошел до своего апогея, когда сделалось известно, что государь в назначенные им дни и часы сам принимает просьбы от своих подданных.

Говорили, что он заявил, что во время его царствования не будет ни фаворитов, ни таких людей, через которых он будет узнавать нужды и обиды своих подданных, да и то после нескольких недель, месяцев и даже лет, во время которых просители изнывают в ожидании. Он сам будет принимать просьбы и жалобы.

Добавляли, что на вопрос, какого звания людей прикажет он допускать к себе и кто может пользоваться этой милостью, Павел Петрович ответил:

– Все и все: все суть мои подданные; все они мне равны, и всем равно я государь; так хочу, чтобы никому не было в том возбраняемо.

Несомненно, что такое распоряжение сильно повлияло на отправление правосудия и на отношения знатных людей к простолюдинам. Строгий суд самого государя висел над ними Дамокловым мечем.

Вскоре появилось, наделавшее в Петербурге много шума, и последствие такого распоряжения.

Один из купцов подал государю жалобу на самого петербургского генерал-губернатора Николая Петровича Архарова, в которой излагал, что последний должен ему двенадцать тысяч рублей, но несмотря на его просьбы, денег не возвращает, сперва водил обещаниями, а теперь приказал гнать его, просителя, в шею.

Государь принял просьбу, находясь при разводе и стоя с любимцем своим Архаровым.

Развернув бумагу, Павел Петрович пробежал ее глазами и, быстро познакомившись с содержанием, обратился к Николаю Петровичу:

– Что-то у меня глаза слипаются и влагою как запорошены, так что я прочесть не могу. Пожалуй Николай Петрович, прими на себя труд и прочти оную.

Архаров почтительно взял бумагу, начал читать, но стал запинаться и, наконец, почти шептать ее содержание себе под нос.

– Читай, читай громче.

Николай Петрович несколько повысил голос, но все же читал так, чтобы слышал только государь.

– Громче, громче... другим не слышно! – настаивал Павел Петрович.

Архарову ничего не оставалось делать, как прочесть жалобу на самого себя громогласно.

– Что это? – заметил как бы с недоумением государь. – Это на тебя, Николай Петрович?

– Так, ваше величество! – смущенно отвечал тот.

– Да неужели это правда?

– Виноват, государь.

– Но неужели это все правда, Николай Петрович, что его, за его же добро, вместо благодарности, не только в зашей выталкивали, но даже и били?

– Что делать, – покраснел до корней волос Архаров, – должен и в том признаться, государь! Виноват... Обстоятельства мои к тому принудили. Однако, я в угодность вашему величеству, сегодня же его удовольствую и деньги заплачу...

Чистосердечное сознание смягчило гнев государя.

– Ну, хорошо, когда так... Так вот, слышишь, – обратился государь к купцу, – деньги тебе сегодня же заплатят. Поди, себе. Однако, когда получишь, то не оставь придти ко мне и сказать, чтобы я знал, что сие исполнено.

Этими словами Архаров был связан более, чем всеми обязательствами.

Павел Петрович был прав, говоря, как мы уже сообщили, что он знает людей. Строгий к обязательствам других, Павел Петрович был строг и к самому себе и не забыл людей, которым был когда-либо обязан.

Вскоре по вступлении на престол, в Зимний дворец явился ямщик с хлебом-солью. Его не хотели пускать и гнали прочь, но он заявил, что государь его знает и просил доложить. Тогда ему не осмелились отказать.

Государю было доложено. Он велел позвать ямщика и принял его в присутствии императрицы.

Поблагодарив за хлеб-соль и допустив его к руке, Павел Петрович обратился к своей супруге с вопросом, узнала ли она этого мужичка.

На отрицательный ответ ее величества государь заметил:

– Как это, матушка, ты позабыла! Не помнишь ли, как мужичок сей нам однажды в долг на две тысячи лошадей, поверил?

Государыня вспомнила и допустила ямщика к руке.

– Теперь, брат, и у меня водятся деньжонки, – сказал улыбаясь Павел Петрович, – коли будет нужно, приходи...

– Сохрани, Господи, – отвечал ямщик. – Статочное ли дело, государь! У меня, по милости Божией, деньги на нужду есть. А разве вам, государь, когда понадобится, так готов до полушки все отдать вам.

– Благодарю, благодарю! – сказал растроганный государь. – Заходи когда вздумаешь.

Допустив к руке, он отпустил своего бывшего кредитора.

Присутственный день со времени воцарения Павла Петровича начинался с шести часов утра. К этому надо было привыкнуть, но государь сумел заставить и штатских служащих исполнять неуклонно свои обязанности.

Сделано это было не строгостью, а опять собственным примером. Так как государь бывал ежедневно при смене караула, или так называемом разводе, то это зрелище, ввиду присутствия государя, было очень интересно, и потому смотреть его собиралось обыкновенно много народу.

В числе глазевших зевак очутился однажды и один штатский чиновник. По мундиру петербургского наместничества Павел Петрович заметил его в толпе, подошел и ласково спросил:

– Конечно, где-нибудь здесь в гражданской службе служите?

– Так, ваше величество! – отвечал чиновник и назвал то судебное место, где был членом. Государь не продолжал вопроса, вынул часы и заметил:

– Вот видите, одиннадцатый час уже в половине. Прощайте, мне недосужно и пора к своему делу...

Павел Петрович отошел. Чиновник, разумеется, не остался глазеть на развод, а опрометью бросился к месту своего служения. Он хорошо понял, для чего государь показал ему часы.

Случай этот вскоре стал известен не только в Петербурге, но и во всей России и так подействовал, что с того времени все сановники перестали съезжаться в полдень, но, по примеру государя, стали вставать раньше и рачительно исправлять свои обязанности.

Мы уже упоминали, что в дворцовом хозяйстве царило положительное хищничество, что можно было судить по одному тому, что сливок в год расходовалось на 250 тысяч рублей, а угля для разжигания щипцов парикмахерам на 15 тысяч.

Павел Петрович, в первый же день своего правления, уволил в отставку бывшего гофмаршала князя Барятинского и назначил на его место богатейшего и честнейшего человека, графа Николая Петровича Шереметева.

Недели через две по вступлении последнего в должность, государь обратился к нему с вопросом:

– Ну, как идут твои дела?

– Худо, государь, сколько ни стараюсь истребить все беспредельное и бесстыднейшее воровство и сколько ни прилагаю всех моих стараний об искоренении всех злоупотреблений, вкравшихся во все дворцовые должности – не могу сладить... Все старания мои как-то ни ползут, ни едут...

Павел Петрович улыбнулся.

– Ну, так, надень, Николай Петрович, шоры, так и поедут скорее.

Этих слов было достаточно, чтобы Шереметев принял действительно меры еще большей строгости и ему удалось если не совсем искоренить зло, то уменьшить его до минимума.

Таков был император Павел Петрович, умевший и сам надевать шоры, где и когда следовало. «Строг, но справедлив!» – говорили о нем в народе.

VII

Приезжий

В самый день Крещения 1797 года, ранним утром, к воротам одного из домов Большой Морской улицы, бывшей в то время, к которому относится наш рассказ, одной из довольно пустынных улиц Петербурга, лихо подкатила почтовая кибитка, запряженная тройкой лошадей, сплошь покрытых инеем. На дворе в этот год стоял трескучий мороз, поистине «крещенский».

Кожаный полог кибитки откинулся и из нее выглянуло молодое, красивое лицо мужчины, еле видневшееся из-под нахлобученной меховой шапки и медвежьей шубы с поднятым воротником; мех шубы и шапки был также покрыт сплошным инеем.

– Здесь? – спросил сидевший приятным баритоном.

– Так точно, ваше благородие, шестой дом, вправо, как сказывал бутарь... Карповичев... – отвечал ямщик, слезая с козел и обеими руками в кожаных рукавицах, ударяя себя по полушубку... – Ну и морозец... злыдня... – добавил он, как бы про себя.

Седок тоже вылез из кибитки и остановился в недоумении; видно было, что он не знает, куда ему идти, что он в первый раз очутился на этой улице Петербурга. Это отразилось на всей его фигуре, имевшей вид вопросительного знака.

– Да вот поспрашайте, ваше благородие, господина офицера... может они еще доподлиннее знают...

Из ворот дома, действительно, выходил армейский офицер.

– Позвольте беспокоить вас вопросом, – обратился к нему приезжий.

– Что прикажете?

– Это дом Карповичева?

– Этот самый.

– А не известно ли вам, где тут проживает отставной гвардии полковник Иван Сергеевич Дмитревский...

– Квартира почтеннейшего Ивана Сергеевича, – отвечал офицер, – находится во дворе, первое крыльцо направо, во втором этаже.

Офицер поклонился и пошел своей дорогой. Приезжий бросил ему в догонку: «Благодарю покорно!» – и сунув в руку ямщика какую-то ассигнацию, захватил из кибитки небольшой дорожный мешок и быстро вошел в ворота.

Ямщик расправил ассигнацию, оказавшуюся пятирублевой, снял шапку, видимо по привычке, хотя давшего ему бумажку уже не было на улице, сунул ассигнацию за пазуху, потом еще раз два ударил себя по полам полушубка, сплюнул в сторону и взобравшись на облучек, крикнул:

– Ну, желанные!

Лошади повернули назад и шагом отъехали от ворот дома, под которыми скрылся приезжий.

Поднявшись во второй этаж, приезжий дернул за звонок парадной двери. Степенный камердинер, одетый в платье военного покроя, отворил ему дверь.

– Дядя дома, Петрович?

– Никак нет-с... Пожалуйте, – засуетился слуга и взял дорожный мешок приезжего.

– Так рано и уже не дома... Я слышал у вас тут, в Питере, спят до обеда.

– Было, Виктор Павлович... было-с... только теперь все прошло и быльем поросло...

Сам государь с пяти часов вставать изволит, ну, за ним, знамо дело, и все господа.

– Но, ведь, дядя не служит.

– Никак нет-с, в отставке...

– Так куда же он в такую рань?..

Задавая эти вопросы, молодой человек с помощью камердинера разоблачился и вошел в зал, а затем в кабинет. Квартира состояла из нескольких комнат, убранных с комфортом; от каждой вещи дышало достатком ее хозяина.

– И какой же вы, Виктор Павлович, красавец стали, просто загляденье, – искренним тоном заметил камердинер.

Молодой человек вспыхнул от этого комплимента.

– Чем же?

– Как чем же; да всем взяли, и ростом, и дородством, и лицом, и станом...

Краска смущения сменилась довольной улыбкой на губах приезжего, над которыми виднелась темная, видимо, несколько дней небритая полоса щетинистых усов.

Петрович был прав. Виктор Павлович Оленин действительно отличался той выразительной мужской красотой, которая невольно останавливает на себе внимание каждого.

Высокого роста, пропорционально сложенный, с выразительным энергичным лицом, которому придавали какое-то светлое выражение большие карие глаза, глядевшие из-под густых ресниц.

Шапка густых каштановых волнистых волос не закрывала открытый высокий, как бы выточенный из слоновой кости лоб.

Яркий румянец пробивался сквозь нежную, как у девушки, кожу щек, оттененных, как и верхняя губа, темною небритою полосой волос, идущей от ушей к подбородку.

Оправившись от смущения, произведенного на него восторженным восклицанием Петровича, Виктор Павлович бросился в кресло.

– Чайку или кофейку прикажите? – спросил Петрович, остановившись у двери.

– Что есть... Да дядя-то скоро вернется?

Петрович ответил не сразу. Он озабоченно почесал затылок.

– Ты что-то скрываешь... Что случилось? – недоумевающе вопросительным взглядом окинул приезжий на самом деле, видимо, чем-то смущенного камердинера.

– Да уж видно надо докладывать все... – с решимостью в голосе отвечал Петрович. – Над дяденькой вашим, кажись, беда стряслась.

– Какая беда?

– Какая, не нам то видать, а только чует мое холопые сердце, что беда не малая...

Виктор Павлович вскочил с кресла.

– Да говори же толком, что случилось... какая беда?

– Сегодня утром, они еще в постеле прохлажались, да книжку почитывали, пришел к ним Петр Петрович Беклешев, в мундире и при шарфе, перед крещенским зимним парадом... и говорит ему еще шутя: «Вот, право, счастливцев! Лежит спокойно, а мы будем мерзнуть на вахт-параде». Посидели это они минут с десять и ушли. Дяденька-то ваш Иван Сергеевич опять за книжку взялись, читать стали, как вдруг снова раздался звонок. Я бросился отворять, да так и обомлел, словно мне под сердце подкатило... Прибыл сам Николай Петрович...

– Это кто же?

– Архаров, наш военный генерал-губернатор... он вторым считается, первый-то его высокочество, цесаревич...

– Что же дальше?

– Вошли они к дядюшке вашему прямо в спальню и так учтиво попросили их тотчас же одеваться и с ними ехать... Дяденька ваш сейчас же встали, а я уж приготовился их причесывать, делать букли и косу и пудремантель приготовил, только Николай Петрович изволили сказать, что это не нужно... Дяденька ваш наскоро надел мундир и в карете Николая Петровича уехали, а куда неведомо... Меня словно обухом ударило, хожу по комнатам словно угорелый, так с час места ходил, вы и позвонили...

– Вот оно что... – промолвил Виктор Павлович и, видимо, от внутреннего волнения стал щипать себе небритый ус. – Только из-за чего-то это могло выйти?

– Не могу знать...

– Значит, у вас здесь пошли строгости?..

– Да как вам доложить, Виктор Павлович, строгости, не строгости, а на счет прежнего вольного духа – крышка. Государь шутить не любит; он на улице за один раз офицера в солдаты разжаловал, а солдата в офицеры произвел...

– Как так?

– Да так-с... едет он раз, батюшка, в саночках и видит, что армейский офицер идет без шпаги, а за ним солдат несет шпагу и шубу. Остановился государь около солдата, подозвал его и спрашивает, чью несет он шубу и шпагу. «Офицера моего, – отвечал солдат, – вот того самого, который идет впереди». «Офицера! – воскликнул государь. – Так поэтому ему стало слишком трудно носить свою шпагу и ему она видно наскучила. Так надень-ка ты ее на себя, а ему отдай с портупеем штык свой: оно ему будет покойнее». Вот как он, батюшка наш, справедливо рассудил.

– Оно и правда, что справедливо, – заметил молодой человек. – Офицер обязан уважать свое достоинство и не подавать примера солдатам в изнеженности и небрежении к своим служебным обязанностям.

– Так, так, Виктор Павлович, и золотая же у вас голова... Молоды, а на счет рассуждений старика за пояс заткнете...

– Ну, опять пошел выхвалять... – остановил его Виктор Павлович.

– И во все, во все он, батюшка, до тонкости входит... Подносили тут наши купеческие бороды ему хлеб-соль... Принял он от них с лаской, только вдруг и говорит им: «А ведь вы меня не любите». Обомлели бороды, стоят, молчат; наконец, один, который поумнее, молвит: «Напрасно, государь-батюшка, так мыслить изволишь, мы тебя искренно любим, как и все прочие твои подданные». – «Нет, – повторил государь, – это неправда. А вы меня не любите, и я вам изъясню сие: я заключаю о любви каждого ко мне по любви его к моим подданным и думаю, что когда кто не любит моих подданных, также не любит в лице их и меня. А вы-то самые и не любите их; не имеете к ним жалости, стараетесь во всем и всячески их обманывать и, продавая им все неумеренной и не в меру высокою ценою, отягощаете их выше меры, а нередко бессовестнейшим образом, и насильно вынуждаете из них за товары двойную и тройную цену. Доказывает ли сие вашу любовь к ним? Нет, вы их не любите; а не любите их, не любите и меня, пекущегося о них, как о детях своих...» Сказал это им государь и замолчал. Купцы-то наши тоже молчали, да и что говорить им было против речей справедливых. Государь посмотрел на них, улыбнулся и сказал: «Таким-то образом, мои друзья! Если хотите, чтобы я был уверен в любви вашей ко мне, то любите моих подданных и будьте с ними совестнее, честнее и снисходительнее...»

– Ну, и что же, подействовало?

– Еще как; теперь те товары, к которым прежде приступу не было, по божеской цене продают... Пронял их, толстопузых, государь-батюшка...

– Если так, то чего же ты боишься за дядю?.. За ним, чай, вины особой нет, а из всего я вижу, что государь строг, но справедлив.

– И как еще справедлив, справедливее и быть нельзя...

– Вот видишь, ты сам согласен, а давеча меня испугал относительно дяди...

– А все боязно, больно это скоро случилось... Неровен час.

– Посмотри, что он скоро вернется и даже, быть может, с Царскою милостью...

– Дай Бог, кабы вашими устами да мед пить... А кофейку я вам подам... – заторопился Петрович и вышел из кабинета.

Хотя Виктор Павлович и успокаивал Петровича относительно внезапного увоза дяди генерал-губернатором, но на сердце у него тоже не было особенно покойно.

«Неровен час!..» – припомнилось ему замечание Петровича.

– Что он будет тогда делать? Вся надежда его была на дядю... Его нет и все может рушиться... Что предпримет он? У кого спросит совета? Как выпутается из беды.

«Примета эта верная...» – мелькнуло у него в голове.

Он вспомнил, что, поворотив на Большую Морскую, он увидел идущего горбуна.

Горбатые люди внушали ему какой-то панический страх и встреча с ними всегда предвещала ему несчастье.

В воспоминаниях его раннего детства играл роль горбун и, быть может, антипатия к ним и была впечатлением, произведенным на его детский мозг этим первым, встреченным им в своей жизни горбуном.

Владимир Павлович стал ходить по кабинету и затем прошел в спальню.

Там был еще беспорядок.

Петрович, видимо, ошеломленный внезапным увозом своего барина, не привел в порядок этой комнаты. Постель была раскрыта. На столике около нее лежала французская книга.

Виктор Павлович машинально взял ее и стал перелистывать. Это была «*La conjuration de venise, par Saint-Real*».

Он заинтересовался книгой, и взяв ее с собой, снова прошел в кабинет.

Вскоре туда подал ему Петрович кофе со сливками и с печеньем. Виктор Павлович почти насильно принудил себя выпить чашку кофе и съесть сухарь. Несмотря на то, что он был с дороги, ему не хотелось есть. Отсутствие дяди его начинало беспокоить не на шутку.

«Может быть Петрович знает!» – мелькнуло в его голове.

– Петрович! – крикнул он.

– Что прикажете? – появился тот из спальни, за уборку которой только что принялся.

– Похвисневы здесь?..

– Генерал Владимир Сергеевич с барыней и барышнями?..

– Здесь...

– А где живут?

– Далеко-с... У Таврического сада... почти что за городом... свой домик купили-с...

У Виктора Павловича отлегло от сердца.

«Они здесь, а он сюда приехал для них и лучше сказать для нее... Ну, а та, другая?..» – вдруг восстал перед ним грозный вопрос.

Петрович снова скрылся в спальню. Оленин, бросив книгу, откинулся на спинку кресла и весь отдался тяжелым воспоминаниям и радужным мечтам.

VIII

Раннее детство

Виктор Павлович Оленин родился 31 января 1768 года, почему, по старике, и назван был Виктором.

Он был первый и единственный сын отставного бригадира Павла Семеновича Оленина и рождение этого первенца стоило жизни его матери.

Через неделю, а именно 7 февраля, Ольга Сергеевна Оленина, урожденная Дмитревская, скончалась.

За неделю до родов она ездила в гости к соседям в одних башмаках и шелковых чулках и простудилась.

Вскоре она почувствовала колотье в боку, но не обратила на это внимания, и хотя боли увеличились, но, предполагая, что они следствие ее положения, она никому не говорила о них, пока не наступил час родов.

Родила она благополучно, но болезнь стала усиливаться не по дням, а по часам, и наконец разлилось молоко.

Напрасно Карл Богданович, немец-лекарь, давал микстуры, порошки, ставил мушки и пиявки – ничто не помогало.

Дня за три до смерти Карл Богданович приехал ее навестить.

– Что, колбасник, – сказала она ему, в то время, когда он шупал ее пульс, – ты говорил, что мне к твоему приезду будет хуже, а мне лучше: теперь я не чувствую никакой боли.

Карл Богданович горько улыбнулся на эти слова больной, сказал «гм» и уехал.

У постели больной сидела Фекла Парамоновна – одна из дворовых женщин, которой поручено было наблюдать за больной.

Прошло три дня.

Однажды, после полуночи, Павел Семенович, движимый каким-то тяжелым предчувствием, пришел посмотреть на больную жену. Его глазам представилась раздирающая душу картина.

Сальный огарок, стоявший на столе, нагорел и, едва мерцая, слабо озарял комнату. Ольга Сергеевна лежала на постели, болезненно разметавшись и судорожно переводя дыхание, губы ее почернели и ссохлись; растрепанные волосы набились в рот. Фекла Парамоновна крепко спала, сидя на стуле.

Павел Семенович растолкав сиделку и приподнял больную, чтобы уложить покойнее, но в то время, когда он еще держал на руках, она вдруг захрипела. Он положил на постель труп своей жены.

Павел Семенович побледнел как полотно и вдруг захохотал. Этот странный хохот навел панический ужас на сбежавшую прислугу. Она испуганными глазами глядела на барина, продолжавшего свой неистовый и дикий хохот. Догадались послать за Карлом Богдановичем.

От имени Оленина, где происходили описываемые нами события, до города Тулы было всего двенадцать верст. Через два-три часа лекарь прибыл, распорядился пустить Павлу Семеновичу кровь и приказал ничем не беспокоить убитого горем вдовца.

Последний полулежал в вольтеровских креслах своего кабинета и думал тяжелые думы.

Он не мог простить себе, зачем не сидел сам в эту ночь у постели умиравшей жены.

Он мысленно упрекал себя в излишней вспыльчивости и даже подчас суровом обращении с покойницей, а вместе с тем он напрасно искал в своей памяти чего-нибудь такого, в чем бы мог обвинить ее.

Кротче и добрее, на самом деле, не было женщины. Не подчиняясь духу времени и примеру тогдашних барынь, она не только никогда никого не прибила, но даже никто из прислуги не слышал от нее сурового, не говоря уже бранного слова.

Один только раз домашний парикмахер Андрюшка, мальчишка лет семнадцати, страшный шалун, рассердил ее тем, что вместо того, чтобы прийти в свое время причесать ей волосы, ушел куда-то с крестьянами в поле и долго пропадал.

Узнав, что он, наконец, вернулся, она выбежала к нему в лакейскую и, выбрав дураком, буквально одним пальцем, как рассказывал и Андрюшка, толкнула его в щеку. Сделав это страшное дело, она побежала обратно в спальню и, бросившись на постель, зарылась лицом в подушки. В этом состоянии нашел ее Павел Семенович и долго не мог успокоить в ней опасения, что она очень больно сделала Андрюшке.

Однажды, впрочем, она очень оскорбила мужа. Будучи по делам в Туле, Павел Семенович купил ей на платье ситцу. Посмотрев подарок, она сказала:

– Эх, Паша, что это тебе понравилось? Не хорошо...

– Не хорошо! – холодно заметил он. – Дайте ножницы...

Тут же при ней он изрезал ситец в мелкие куски.

Всеми этими воспоминаниями терзал свою душу неутешный вдовец. О новорожденном ребенке, которого окрестили за два дня до смерти матери, почти позабыли.

По совету дворовых, чтобы он на первое время не попадался на глаза барину, который в нем может все же видеть виновника смерти жены, его отвезли к соседям.

С обтертою от новой коленкоровой рубашки кожей, ни разу после крестин не мытою, неделю спустя после похорон Ольги Сергеевны, его привезли к отцу.

Не предупредив его ни о чем, кормилица вынесла к нему ребенка, который инстинктивно протянул к нему ручки. Павел Семенович не выдержал, зарыдал, схватив на руки сына. Казалось, инстинктивная ласка ребенка утешила горе любящего мужа. Казалось, в нем проснулся отец.

Увы, это только казалось. Через несколько месяцев он как-то снова отдалился от своего сына, который был отдан всецело на попечение мамки и остальной женской прислуги богатого помещичьего дома.

Павел Семенович становился все угрюмее и угрюмее; припадки меланхолии, которые продолжались по несколько дней, стали повторяться все чаще и чаще.

В эти страшные для него и для всех домашних дни несчастный не вставал с постели, не принимал пищи и стекловидными глазами глядел в одну точку.

Иногда ночью он вдруг в одном белье, несмотря на время года, уходил из дому и его находили почти без чувств на могиле его жены и препровождали домой.

Так прошло более года.

Из Москвы пришло известие о смерти любимой старшей сестры Павла Семеновича, Екатерины Семеновны, вдовы генерал-майора Похвиснева, – тело покойной должны были привезти в Оленино и похоронить в фамильном склепе.

Эта смерть сестры еще более усугубила гнетущее настроение духа Павла Семеновича.

Могила для покойной приготовили рядом с могилой Ольги Сергеевны.

Больной психически, Оленин вообразил, что покойная жена его святая.

В то время, когда могила для Екатерины Семеновны была готова, а вместе с ней был открыт и склеп, где была похоронена Ольга Сергеевна, Павел Семенович выбрал время, когда близ церкви никого не было, спустился в открытый склеп, приподнял крышку заветного гроба и заглянул в него.

Он был уверен найти тело нетленным, но что он нашел, он не сказал никому. Эту тайну он, впрочем, унес вскоре в могилу.

На другой день после похорон его сестры Павел Семенович застрелился.

Витя остался круглым сиротою.

Приехавший на похороны брат мужа Екатерины Семеновны Похвисневой, занимавший в Москве одно из видных административных мест, принял после похорон несчастного самоубийцы опеку над сыном Павла Семеновича и увез его, вместе с мамкой, которая осталась при ребенке, уже отнятого от груди, в качестве няни, в Москву.

Таково было раннее детство Виктора Павловича Оленина, о котором он сохранил лишь смутные воспоминания.

Сознательная жизнь началась для него в Москве, в доме Похвисневых.

Семейство последних состояло из старика-отца и старухи-матери, двух сестер и сына – опекуна Виктора Павловича – Сергея Сергеевича Похвиснева.

Старики, Сергей Платонович и Марья Николаевна, жили на покое, а две сестры, Пелагея и Евдокия Сергеевны или, как их звали в семье, Поли и Додо были перезрелые девицы, считавшиеся, впрочем, в московском обществе на линии невест.

Их брат управлял в Москве учреждением, где много было чиновников-женихов, жаждавших породниться с начальством, да и у стариков Похвисневых был изрядный капиталец, который предназначался к дележу между Поли и Додо.

Последние, впрочем, были разборчивы и «сидели в девках», как не мелодично говорил о них отец.

Белокаменные двухэтажные палаты Похвисневых находились на Воздвиженке.

Дух аристократизма, а по-тогдашнему – барства высшего круга, веял над этим семейством. Блестящее, по тогдашнему времени, воспитание, знание французского языка, напудренные головы, фижмы – все резко отличало семейство Похвисневых даже среди других аристократических семейств первопрестольной столицы.

Кроме безвременно умершего сына Николая Сергеевича – мужа тетки Виктора Павловича, у стариков было еще двое сыновей – Сергей и Владимир.

Сергей, как мы уже сказали, служил по штатской службе в Москве, а Владимир в гвардии в Петербурге.

Маленького Витю поселили в одной из задних комнат верхнего этажа – в первом этаже были залы и гостиные – и обе барышни принялись ухаживать за новым маленьким жильцом.

Если бы не зоркий глаз мамки, он наверное был бы, согласно русской пословицы, без глаза.

Мальчик начал ходить, а затем и бегать, к величайшему удовольствию обеих барышень и в особенности старшей, Поли – красивой брюнетки с черными жгучими глазами.

Витя почему-то был привязан к ней более, чем к меньшей – бесцветной шатенке. Часто дети как-то инстинктивно симпатизируют красивым.

Поли тоже ласкала чаще ребенка. Быть может, это было причиной, что Витю не взлюбил живший в доме «дурак».

Как у всех богатых и знатных людей того времени, как это принято было даже при дворе, у Пихвисневых был «дурак».

Кроме настоящей, или напускной глупости, он отличался еще и уродством. Два горба, спереди и сзади, низкий рост и невероятно короткие ноги придавали ему вид яйца, лежавшего на боку, из которого, как вылупившийся цыпленок, торчала маленькая голова с каким-то пухом вместо волос и маленькими зеленоватыми злыми глазами.

«Дурак», по всем видимостям, был безумно влюблен в Пелагею Сергеевну. По крайней мере она одна одним взглядом смиряла его ярость.

Он имел право всех тогдашних «дураков» ругать барина в глаза и обращаться со всеми без малейшего стеснения.

Он-то и не взлюбил маленького Витю, преследовал и пугал его, так что ребенок стал к нему чувствовать почти панический страх.

Вите было шесть лет, когда «дурак-горбун» умер. Случилось это при следующих обстоятельствах. Когда «дурак», действительно, или мнимо надоедал старому барину, Сергей Платонович приказывал его сечь.

Приносили розги, клали горбуна и хотя секли легко, почти только для вида, но он рвался, кричал и ругал барина.

Один раз, за какую-то провинность, телесное наказание было заменено обливанием водою на двор у колодца, причем «дурак» дал полную волю своим бранным излияниям.

– Дурак, черт! – кричал он на барина вне себя, а Сергей Платонович, сидя у окна, хохотал.

Эта-то забава не прошла даром несчастному обливанцу, и от последовавшей затем горячки он отдал душу Богу.

Но и после смерти горбуна, одни напоминания о нем были величайшим пугалом для семилетнего ума мальчика.

Воспоминания об этом были так живучи, что в течение всей своей жизни Виктор Павлович не мог забыть горбуна.

И даже теперь все почти рассказанное нами пришло ему на память в кабинет дяди, под впечатлением встречи какого-то горбуна на улице.

IX

Карьера и любовь

Прошло два года – время, казалось бы, небольшое, но именно в эти два десятка месяцев в семье Похвисневых события с невероятною быстротою сменялись одно за другим.

Жизнь, впрочем, часто подобна многоводной реке, плавно текущей до места обрыва, с которого ее доселе спокойные воды вдруг с пеной и гулом устремляются вниз, чтобы через несколько десятков сажен принять снова спокойный и величаво-однообразный вид.

Величаво-однообразная река жизни Похвисневых имела в эти два года свои пороги.

Поли и Додо, одна за другой, вышли замуж; промежуток между свадьбами был не более полугода.

Обе взяли себе в мужья, именно взяли – это настоящее выражение, по подчиненному своего власть имущего брата – молодых людей, небогатых, необразованных, но с внешним лоском, весь необширный кругозор желаний которых сосредоточивался на чиновничьей карьере.

Это были партии «не ахтителные», как выражалась горничная барышень Похвисневых, круглолицая и толстогрудая Палаша, но *'es trente ans sonnes ont leurs désirs singuliers*, – заметила одна из московских злоязычниц, княгиня Китти Облонская.

Относительно лет девиц Похвисневых змеиный язычок княгини преувеличил не особенно много.

Старики Похвисневы как будто только ожидали пристроить, как говорится, своих дочерей, и через несколько месяцев после свадьбы Додо тоже один за другим сошли в могилу.

Сергей Платонович пережил свою жену Марью Николаевну ровно на сорок три дня. Отслужив в сороковой день панихиду на кладбище Симонова монастыря, где был фамильный склеп Похвисневых, он возвратился домой, почувствовал себя худо и слег.

Через три дня его не стало.

Сергею Сергеевичу сделалось как-то пусто и жутко одному в громадном доме, доставшемся ему по наследству – сестры были выделены приданным, и он, по истечении годовичного траура, женился на Анне Андреевне Макшеевой, молодой девушке, только что приехавшей из Петербурга, по окончании курса в Смольном монастыре.

Невеста принесла жениху в приданое имение близ Москвы и сто тысяч рублей ассигнаций.

Маленькому Вите ко дню свадьбы дяди Сережи пошел уже десятый год.

Надо было подумать о его образовании.

Занятия по службе и выезды с молодой женой, конечно, не позволяли Похвисневу уделять время не только для того, чтобы заниматься с подраставшим мальчиком, но даже для наблюдения за его учением.

Сергей Сергеевич списался с братом матери Вити, Иваном Сергеевичем Дмитревским, служившим в Петербурге в гвардии, и тот охотно принял на себя хлопоты о помещении племянника в один из петербургских пансионов.

Сергей Сергеевич вместе с молодой женой поехал в Петербург и повез Витю, сдать с рук которого было не столько его желанием, сколько заветной мечтой Анны Андреевны, которой шалун-мальчик, требовавший непрестанного присмотра, порядком-таки надоел.

В Петербурге Витю отдали в лучший тогда в северной столице пансион господина де Вильнева и не забыли записать, по тогдашнему обыкновению, в службу.

Он был записан в Преображенский полк сверх комплекта, и затем, благодаря связям дяди – Дмитревского, был переведен в измайловский полк тем же чином в комплект.

В пансионе де Вильнева Витя оставался недолго.

После смерти де Вильнева, он поступил в пансион госпожи Люск, а оттуда к Массоне.

Набравшись в этих тогдашних рассадниках просвещения всей иноземной премудрости, он вышел в кадетскую роту Измайловского полка.

В 1787 году Виктор Павлович уже девятнадцатилетним юношей назначен был находиться при графе Безбородко для курьерских посылок в чужие края.

Во время путешествия императрицы Екатерины в Киев и Крым в числе чиновников, составлявших свиту ее величества, находился В. П. Головкин.

Он был очень дружен с Иваном Сергеевичем Дмитриевским и любил очень его племянника, а потому и взял последнего в свою кибитку во время путешествия государыни.

Из Киева молодой Оленин был отправлен курьером в Париж, с подарками к министрам французского двора: Монмареню, иностранных дел – перстень с прекрасным солитером; наследникам Вержена – полная коллекция российских золотых медалей; графу Сегюру, сухопутных сил – соболий мех и фельдмаршалу де Кастри – перстень с солитером.

Подарки эти посланы были по случаю заключения с Францией первого торгового трактата.

В Париже Виктор Павлович пробыл три месяца, а по возвращении в Россию, через несколько месяцев послан был курьером в Лондон.

Какое было его поручение, он сам не знал.

Он передал запечатанный пакет нашему посланнику графу С. Р. Воронцову.

По словам чиновников посольства, когда граф распечатал этот пакет, то сказал:

– Оленин привез старые газеты; видно графу Безбородко хотелось познакомить его с Лондоном.

В Лондоне он прожил около полугода.

Вернувшись в Россию, он в чине сержанта, совершил еще несколько заграничных поездок: был в Вене, в Кобленце, Франкфурте-на-Майне и Карлсруэ, столице маркграфства Баденского.

Из Карлсруэ Виктор Павлович привез в Петербург императрице Екатерине портреты обеих принцесс Баденских, Луизы и Фредерики.

Первая, приняв имя Елизаветы Алексеевны, сочеталась вскоре браком с великим князем Александром Павловичем, а вторая была впоследствии шведской королевой.

Во второй половине 1791 года Виктор Павлович получил первый офицерский чин – подпоручика. С этого собственно времени началась его военная карьера.

Служба была в то время в гвардейских полках легкая. Производство шло быстро.

Через четыре года Виктор Павлович был уже капитаном.

Сергей Сергеевич Похвиснев уже давно, ввиду достижения опекаемым совершеннолетия, звал его в Москву для принятия в свое заведывание имения и капиталов.

К чести опекуна, надо сказать, что он умножил и без того громадное состояние молодого Оленина.

Это состояние заключалось в нескольких имениях, в черноземных полосах России, населенных десятками тысяч душ, и наличном капитале в несколько сотен тысяч рублей.

В феврале 1796 года Виктор Павлович взял отпуск и поехал в Москву.

Там он застал множество перемен к лучшему, в смысле общественного оживления.

Праздного богатого дворянства проживало тогда в Москве множество. Балы в благородном собрании были многолюдные; нередко число посетителей доходило до семи тысяч.

Молодой богатый капитан гвардии, вращавшийся в петербургских придворных сферах, побывавший в чужих краях и, следовательно, обладавший неподдельным европейским лоском, красавец собою, Виктор Павлович естественно был желанным гостем гостеприимных московских гостиных и героем балов и вечеров, даваемых московскими магнатами.

Он положительно закружился в вихре удовольствий.

Дело по сдаче опекуном сумм и имений все откладывалось и откладывалось, и виной тому был Виктор Павлович, который не находил времени заняться им и не думал даже о необходимости отъезда в Петербург.

Не одни московские пиры и банкеты заставили забыть молодого гвардейца блестящий двор и товарищей – в Москве оказался более сильный магнит.

Этим магнитом была одна из его кузин, Зинаида Владимировна Похвиснева, дочь Владимира Сергеевича, года с три как вышедшего в отставку с чином майора и проживавшего в Москве с семейством, которое состояло из жены Ираиды Ивановны и двух дочерей, Зинаиды и Клавдии.

Мы впоследствии ближе познакомим читателей с этой семьей, которой предназначено играть одну из видных ролей в нашем правдивом повествовании.

Здесь же мы называем Зинаиду Владимировну единственно как причину, почему Виктор Павлович забыл о Петербурге и службе.

Увлекающийся по природе, он был влюблен и совершенно потерял голову.

Истинно влюбленные робки – он был робок и потому дело любви не подвигалось ни на один шаг вперед, хотя он был из тех завидных женихов, на которых матери взрослых дочек глядят хищными глазами.

Впрочем, эту причину выставляла своей дочери сама Ираида Ивановна, конечно, очень желавшая «Зизи», как называла она дочь, такой блестящей партии.

Такова ли была эта причина на самом деле, мы узнаем впоследствии.

Наступил ноябрь 1796 года, и вдруг Москву, как громом, поразила весть о кончине императрицы Екатерины II и вступлении на престол императора Павла I.

С этим известием прибыл в Москву капитан гвардии Митусов.

Москва радостно приняла вторую половину известия и целые три дня, после принесения присяги новому государю, были торжественные празднества.

В изъявлении усердия своему новому государю, первопрестольная столица одарила и вестника такими роскошными подарками, что сразу составила ему целое состояние.

Начальник Москвы, Михаил Михайлович Измайлов, подарил ему массивную серебряную стопу, наполненную червонцами, губернатор, князь Петр Петрович Долгорукий – табакерку с бриллиантами, полициймейстер, генерал-майор Павел Михайлович Козлов – часы с осыпью; московское купечество поднесло ему на серебряном блюде тысячу червонцев, а все дворянство – десять тысяч ассигнациями; английский клуб поднес ему от себя пять тысяч рублей.

Государь остался очень доволен таким приемом его посланного и прислал вскоре благодарственное письмо к Измайлову, повелев в нем объявить признание свое и благодарность всем чинам, в Москве пребывающим, как гражданским, так и воинским, дворянству, купечеству и вообще всем жителям.

Москве об этом известно стало в несколько часов через квартальных.

Митусов, по возвращении в Петербург, был произведен в генерал-майоры.

Вслед за этим известием получилось другое, взволновавшее из конца в конец всю Россию.

Это было строжайшее высочайшее повеление, чтобы все находящиеся в домовых отпусках и в отлучках гвардии обер- и унтер-офицеры непременно явились к своим полкам и командам.

Совершенно потерявший голову от любви к своей кузине, Оленин, рассчитывая на прежнее отсутствие порядка в войске, нимало не встревожился этим повелением и продолжал по-прежнему издали любоваться предметом своей пылкой любви, о чем молодая девушка только могла догадываться.

Время шло.

Оказалось, впрочем, что для него это не могло уже иметь особенно дурных последствий, так как он, давно пропустивший срок своего отпуска, по высочайшему повелению был исключен из службы, о чем и уведомлен через полицию.

Почти одновременно с этим в семье боготворимой им девушки произошло событие, поразившее всех, как громом из ясного неба.

Майор Владимир Сергеевич Оленин был внезапно ночью увезен с прибывшим фельдшером в Петербург.

Жена и дочери чуть не сошли с ума от внезапности обрушившегося на них, как казалось, несчастья.

Несколько успокоившись, они быстро собрались и помчались тоже в Петербург.

Виктору Павловичу в Москве оставаться было, таким образом, незачем.

Он принялся за свои имущественные дела, принял от опекуна все деньги и имения по бумагам и тоже поехал восвояси – в Питер.

Что там ожидало его? – он не задавался вопросом.

Он ехал за «ней».

X

По московскому тракту

Дорога от Москвы до Петербурга, как и другие дороги, ведущие в северную столицу, представляла в описываемое нами время интересное и необычайное зрелище.

Она усеяна была кибитками скачущих гвардейцев, в некоторых сидели матери с совсем маленькими детьми.

Слух о созыве всех отлучных гвардейцев распространился, как мы уже имели случай заметить, подобно электрическому току, почти в один миг по всему государству и произвел повсюду страшный переполох.

Не было ни одной губернии, ни одного уезда, словом, ни одного угла в государстве, где бы не было отлучных и находящихся в отпусках гвардейцев.

Повсюду их было множество, и больших, и взрослых, и малолетних.

Все они были встревожены неожиданным повелением, строгость которого повсеместная молва увеличила в сто раз.

Говорили, что велено тотчас ехать к своим полкам и явиться непременно в срок, а кто не явится, будут не только исключены из военной службы, но имена их будут сообщены геральдии, чтобы никуда их более не определять.

Этот преувеличенный слух нагонял на всех положительный ужас, и нельзя себе представить, какое произошло повсюду смятение, жалобы и плач, среди отлучных и отпускных гвардейцев и их близких.

Многие, живя целые годы на свободе в деревнях, даже поженились и нажили себе детей, которых тоже записали в гвардию унтер-офицерами, хотя и сами еще не несли никакой службы.

Положение их было не из приятных, и они не знали, что им делать и как появиться перед лицом монарха; они должны были бросить своих жен и спешить в столицу.

Большинство горько раскаивалось, что, по примеру других, не вышли уже давно в выпуски или в отставку, и проживали по несколько лет в сержантских чинах, дожидаясь гвардейского офицерства.

Браня на чем свет самих себя, они ехали, с ужасом представляя себе все трудности службы.

Иные надеялись в том же году быть капитанами; вдруг эти надежды оказались разбитыми и они ехали повесив головы.

За малолетних и несовершеннолетних горевали их родители.

Из них, в особенности, были поражены отцы и матери тех малолетних, записанных в гвардию детей, которые совсем были неспособны к службе.

Все эти солдаты-дети также требовались в полки, как отпущенные до окончания наук в свои дома.

Не знали, что делать с этими малолетними.

К особому несчастью, многие из них, по жадности родителей и по протекции, считались давно уже на действительной службе, а некоторым были прибавлены года и по полковым спискам они значились шестнадцати и восемнадцатилетними, когда на самом деле им не было иногда и десяти лет.

Как было показаться с таким в Петербург, а ехать все же было надо.

По всей России раздавались жалобы и стоны, всюду слышались слезы и рыдания.

Но все это не могло вызывать ни малейшей жалости в трезво и беспристрастно смотрящих на вещи людях.

Это было наказание нашему дворянству за наглое злоупотребление во зло милости великой монархини, за непростительный обман при записке в гвардию младенцев.

Взрослые гвардейцы тоже не заслуживали сожаления.

Они жили по городам и селам в совершенной праздности и помышляли не о службе, а вертопрахстве, мотовстве и буйстве.

Они только делали, что рыскали с собаками по полям, выезжали рысаков, танцевали в собраниях и кутили во всю ширь русской натуры.

Государь решил положить на них узду и этим нанести решительный удар всеобщему мотовству, пышности и роскоши, достигших в то время своего апогея.

Гвардейцы давали всему этому тон, и император Павел Петрович естественно с них начал искоренение этого зла.

Обо всем этом узнал Виктор Павлович Оленин от многочисленных и разнородных приезжих, которых он встречал на почтовых станциях московского тракта.

Всюду он слышал толки о строгостях нового государя, толки преувеличенные, рисовавшие его чуть не жестоким деспотом.

Это более чем понятно, так как слухи эти распускали те, которые во время последних лет слабого правления милосердной монархии, привыкли употреблять во зло это милосердие и строить свое благополучие не на честном исполнении служебного долга, а на вредной праздности и еще более вредной для казны деятельности.

Распоряжения Павла Петровича еще во время царствования его матери, изучившего злоупотребления царедворцев и чиновников и разом прекратившего их энергичными мерами, не могли, конечно, им придти по вкусу.

Они подняли злобный говор, который производил впечатление на современников и даже, к сожалению, оставил след в истории конца восемнадцатого века.

Петербург понимал деятельность своего нового государя и благословлял его, но разехавшиеся по России удаленные от дел вельможи, выгнанные со службы казнокрады громко жаловались и находили доверчивых слушателей.

Вот каковы бывают зачастую причины исторической лжи.

На Виктора Павловича Оленина все эти рассказы тоже произвели тяжелое впечатление.

Ему стала рисоваться судьба, постигшая вызванного пред лицом грозного государя, Владимира Сергеевича Похвиснева.

Он был весь мыслями с семьей последнего, среди которой была обожаемая им девушка.

«Клавдия так любит отца! Это положительно убьет ее!» – проносились в его голове мысли.

Что «это»? – он не отдавал себе ясного отчета.

Под гнетом таких дум, он гнал ямщиков, и только при въезде в Петербург, когда у заставы его начали спрашивать о звании, имени, фамилии и месте остановки, Оленин вспомнил, что ему негде остановиться.

Находясь постоянно в разъездах, он не обзавелся частной квартирой и жил на биваках в измайловском полку, а с исключением из службы остался без определенного места жительства.

Расстроенный и сосредоточенный на одной мысли, что случилось с Похвисневым, Виктор Павлович стал было сперва в тупик от последнего вопроса и лишь после некоторого размышления вспомнил, что его дядя по матери, Иван Сергеевич Дмитриевский, недавно писал ему в Москву и что даже у него есть к нему дело.

В письме он уведомлял его, что вернулся из заграницы и просил, в случае приезда в Петербург, остановится у него. «Иначе ты обидишь и меня, и Петровича», – говорил он в письме.

Петрович был слуга – друг Дмитриевского, знавший Виктора Павловича с малства.

Напрягши свою память, Оленин вспомнил новый адрес Ивана Сергеевича, сказал его чиновнику и приказал ямщику ехать на Большую Морскую. Мы видели, что он не застал дома

дяди и по смущенному лицу Петровича догадались, что и над его барином, хотя последний был в отставке, стряслась беда, быть может не хуже, чем над Похвисневым.

По моргающим глазам слуги, из которых готовы были брызнуть слезы, Виктор Павлович увидел, что дело может быть очень серьезно, и хотя старался утешить Петровича, но чувствовал, что на него самого нападает тревожное волнение.

Последнее стало усиливаться, когда наступил уже вечер, а Иван Сергеевич домой не возвращался.

Виктор Павлович, в угоду Петровичу, сел за накрытый в два прибора стол, но почти не затрагивался до подаваемых кушаний.

– Я, Виктор Павлович, схожу, может где стороной разузнаю, – дрожащим от волнения голосом, в котором слышались решительные ноты, заявил Петрович, подавая в кабинет свечи... – Ведь не иголка их высокородие, пропасть не могут...

– Куда же ты пойдешь?..

– Да уже схожу, разузнаю...

– Что же, на самом деле, надо узнать, что случилось...

– Да уж так в неизвестности еще хуже, – с плачем в голосе сказал Петрович, и рукой смахнул с глаза навернувшуюся на ресницу предательскую слезу.

Виктор Павлович остался один и начал читать найденную им в спальне дяди книгу, но вскоре бросил. Он ничего не понимал из читаемого, печатные строки прыгали перед его глазами, их застилал какой-то туман. Оленин встал и стал нервными шагами ходить по кабинету. Время тянулось бесконечно долго. Наконец, дверь кабинета отворилась и на ее пороге появился весь бледный, растерянный Петрович.

– Ну, что узнал? – бросился к нему Виктор Павлович, волнения которого дошли уже до последней крайности.

– Узнал! – упавшим голосом, чуть слышно прошептал Петрович.

Оленин скорее догадался об ответе по движению его побелевших губ, чем услышал.

– Что же ты узнал?..

– Они-с у Николая Петровича. У Архарова-с, у генерал-губернатора...

– Что же он там делает?

– Ничего-с... сидят...

– Ты его видел?

– Никак нет-с... Не допустили...

– Как не допустили?.. Но почему же он не едет домой?

– Он не может, как бы арестован...

– Вот что... – протянул Виктор Павлович.

– Да-с, уж беда такая, такая беда... что хуже нет... – развел руками Петрович и слезы градом брызнули из глаз верного слуги.

– Это что-то странно... Арест в доме генерал-губернатора... Может быть какое-нибудь недоразумение и все разъяснится...

– Где уж тут! Беда, беда неминуемая, – уже в совершенном отчаянии проговорил Петрович, утирая кулаком слезы.

– Ну, что ты реवेशь, погоди, успеешь наплакаться, когда все узнаем точнее...

– Чего уж точнее... Коли не допускают, как к арестанту какому, прости Господи...

– Значит, его Архаров прямо отсюда и увез к себе?..

– Никак нет-с, они во дворце были, а уж оттуда к нему.

– Во дворце... Значит, это по распоряжению государя?..

– Так точно, бают слуги, что по высочайшему повелению, оттого-то и строго так.

Виктор Павлович опустил голову. Слов утешения, под впечатлением слышанных им дорогой рассказов, у него более не было. Петрович стоял перед ним, растопырив руки.

– Что же нам теперь делать, Виктор Павлович?.. – после некоторой паузы спросил он.

– Что делать? Что делать?... – машинально повторял Оленин. – Теперь ложиться спать и ждать, что будет завтра.

– Я вам здесь, в кабинете, и постелю, или может на баринову постель ляжете?..

– Конечно, здесь... Может дядя еще вернется ночью...

– Где уж... – махнул рукой камердинер и пошел за периной, подушкой и одеялом.

Усталость с дороги взяла свое и Виктор Павлович, несмотря на пережитые волнения, вскоре заснул крепким сном молодого организма.

Проснулся он довольно поздно и то разбуженный Петровичем.

– Там какой-то чиновник дожидается, вас хочет видеть... – испуганно прошептал он.

– Меня?..

– Вас.

Сердце Оленина упало.

– Господи... вдруг... посадят... вышлют... и не увидишь ее...

Расспросить вчера о Похвисневых у Петровича Виктор Павлович стеснялся.

– Сам завтра узнаю... поеду... – решил он.

С этой мыслью он заснул и... вдруг... Наскоро одевшись, он вышел в залу. На этот раз тревога оказалась пустой.

Дело в том, что государю было хорошо известно, что много дворян ежегодно приезжает в Петербург по разного рода делам, и многие из них имеют тяжбы в судебных местах столицы, вследствие медленности производства задерживаются тут на неопределенное время, что, при дороговизне петербургской жизни, отражается на их благосостоянии, а потому приказал, чтобы всякий дворянин, при въезде в заставу, объявлял, кто он такой и где будет стоять. На другой день к ним командировался чиновник, чтобы узнать, по какому делу приезжий явился в Петербург, и если для подачи просьбы в какой-нибудь приказ или судебное место, то чиновник обязан был предупредить приезжего, если он не получит удовлетворения в своем деле в течение двух недель, то должен через одного из государственных адъютантов довести о том до сведения его величества.

С этим-то предупреждением и явился чиновник к Виктору Павловичу.

Последний объяснил ему, что не имеет никакого судебного дела и никуда не подавал, и не намерен подавать просьбы. Чиновник удалился, к великой радости Петровича.

ХІ Арест

Иван Сергеевич Дмитревский конечно понял, что Архаров действует по высочайшему повелению, но, не зная за собой никакой вины, не только делом, но даже промышленiem, спокойно сел вместе с генерал-губернатором в его карету.

Карета проехала Большую Морскую, выехала на Дворцовую площадь и остановилась у Зимнего дворца.

Выйдя из кареты, они вошли в главный подъезд, где застали Санкт-Петербургского полицмейстера, привезшего бывшего сослуживца и товарища Дмитревского – Лихарева.

Оба арестанта бросились друг к другу с вопросом:

– Не знаешь ли за что?

– Не знаю! – отвечали они друг другу в один голос. Они стали ждать.

Время тянулось, полчаса показались им несколькими часами. Наконец их обоих позвали.

Надо было проходить через все парадные комнаты дворца, наполненные, по случаю торжественного дня, генералитетом, сенаторами, камергерами, камер-юнкерами, высшими чинами двора и придворными дамами.

Все с недоумением глядели на двух отставных офицеров, на их небрежный туалет, так как и Лихареву не дали одеться как следует, идущих в собственные апартаменты его величества, предводимые генерал-губернатором и конвоируемые полицмейстером.

Шепот предположений несся им вслед.

Наконец они все четверо очутились у закрытых дверей кабинета императора. Архаров отворил дверь и со словами: «пожалуйста, господа», отступил. Он вошел вслед за ними. Полицмейстер остался в соседней комнате.

Дмитревский и Лихачев вступили в кабинет своего государя. Дверь за ними медленно закрылась.

Кабинет представлял большую комнату с двумя окнами, выходившими на площадь, отступая на некоторое расстояние от которых стоял громадный письменный стол, а перед ним высокое кресло; у стены, противоположной двери, в которую вошли посетители, стоял широкий диван, крытый коричневым тисненым сафьяном, также же стулья и кресла, стоявшие по стенам, и резной высокий книжный шкаф дополняли убранство. Пол был сплошь покрыт мягким персидским ковром, заглушающим шаги.

В кабинете был государь, окруженный одним императорским семейством.

Павел Петрович стоял, положив левую руку на спинку высокого кресла, находившегося перед письменным столом. Немного позади его находились цесаревич Александр и великий князь Константин. Государыня сидела на диване.

Государь, по привычке людей маленького роста, держался совершенно прямо, как говорится, на вытяжке, и закидывал назад голову. Его некрасивое, но выразительное лицо, с глазами, блестящими умом и энергией, было видимо взволновано. На это указывали красные пятна, то появлявшиеся, то исчезающие на щеках.

Дмитревский и Лихарев преклонили колена.

– Встаньте... – раздался резкий голос императора.

Они повиновались. Павел Петрович несколько секунд пристально смотрел на них. Они со своей стороны, не сморгнув глазом, глядели на государя.

– Господа, мне подан донос, что вы покушаетесь на мою жизнь... – медленно, отчеканивая каждое слово, произнес Павел Петрович.

Эти роковые слова, подобно раскату грома, пронесли среди тишины, царившей в кабинете. Дмитревский и Лихарев вздрогнули, но не опустили глаз.

Великие князья Александр и Константин, видимо, тоже не подготовленные к этому известию, обливаясь слезами, бросились обнимать отца.

Государыня приложила платок к глазам и тихо заплакала. Государь видимо был тронут.

– Я хотя и не думаю, чтобы этот донос был справедливым, потому что все свидетельствуют о вас одно хорошее, особенно за, тебя ручаются, – обратился Павел Петрович к Дмитревскому.

Иван Сергеевич поклонился.

– Впрочем, – продолжал государь, – я так еще недавно царствую, что никому, думаю, не успел еще сделать зла.

Он помолчал с минуту.

– Однако, если не так, как император, то как человек, должен для своего сохранения принять предосторожности. Это будет исследовано, а пока вы оба будете содержаться в доме Архарова. Николай Петрович, увези их к себе.

Им отвели прекрасную комнату, окружили всеми удобствами и лишь разобили со всеми знакомыми и домашними. Но и это продолжалось не долго.

Петрович ошибался, думая, что случилась беда неминуемая. Беда оказалась невелика.

Через три дня вся эта история кончилась.

По произведенному исследованию оказалось следующее: слуга двоюродного брата Лихарева, носившего ту же фамилию, но с которым Иван Сергеевич Дмитревский не был даже знаком, подал донос, в надежде получить за это свободу.

Для достоверности надо было кого-нибудь припутать, и припутал Дмитревского.

Архаров, немедленно по взятии под арест обоих приятелей, бросился обыскивать их слуг и слуг их родственников.

У доносчика было найдено черновое письмо к родным, в котором он писал, что скоро будет вольным.

Это-то письмо, при сходстве почерка с доносом, послужило к открытию истины.

Об этой проницательности и находчивости Архарова долго говорили в Петербурге.

Оба арестанта снова были представлены государю. Павел Петрович встретил их с распростертыми объятиями. Так как Дмитревский шел первым, то государь обнял его и не допустил стать на одно колено, согласно этикету того времени. Лихарев уже успел в это время преклонить колено.

– Встаньте, сударь, а не то подумают, что я вас прощаю! – сказал ему Павел Петрович.

В этот же день государь пригласил их обоих к обеду. Доносчик был бит плетью и сослан в Сибирь.

Эта история, в связи с другой, случившейся вскоре, побудила государя поставить мудрое решение, разом затушившее искру, которая могла бы разгореться в огромный пожар.

Пользуясь свободой и дозволением всякому просить самого государя, крепостные люди задумали жаловаться на своих господ, и, собравшись вместе, подали государю во время развода общую челобитную.

В челобитной этой они возводили на своих господ всевозможные обвинения и просили, чтобы государь освободил их от тиранства, заявляя, что они не хотят служить своим господам, а лучше будут служить самому государю.

Павел Петрович, прочитав жалобу, тотчас же сообразил, какие страшные последствия могут произойти, если он не только удовлетворит просьбу этих слуг, но даже оставит ее безнаказанною, а потому тотчас же подозвал одного из полицейских и приказал взять этих людей и публично наказать их плетью, количество которых должны определить их помещики.

В этом смысле государь положил и резолюцию на их просьбу.

Этим он отбил навсегда охоту у крепостных людей жаловаться на своих господ.

В то время, когда происходила эта трехдневная история с Иваном Сергеевичем Дмитриевским, его племянник безвыходно сидел в квартире своего дяди, подвергнувшись поневоле домашнему аресту.

Оказалось, что все сделанное им в Москве платье, кроме дорожного, не годилось для появления на улицах Петербурга.

Император Павел Петрович, в видах искоренения роскоши, наистрожайше подтвердил указом, чтобы никто в городе, кроме треугольных шляп и обыкновенных, круглых шапок, никаких других не носил; воспрещено было также ношение фраков, жилетов, башмаков с лентами, – словом, костюмы были изменены до неузнаваемости, а потому Виктору Павловичу пришлось позвать портного, чтобы заказать себе платье и переделать насколько возможно сделанное в Москве.

Портные, заваленные в то время работой, не только дорожились, но и назначали для исполнения заказов продолжительные сроки.

Пришлось быть невольным пленником.

Впрочем, неизвестность судьбы дяди и без того так сильно расстроила Оленина, что ему было не до визитов, хотя душой он стремился к Похвистневым, судьба которых его сильно беспокоила.

«Авось, дядя выпутается из беды и тогда я узнаю все... Он, вероятно, бывает у них... Мы поедем вместе», – утешал себя затворник поневоле.

Вскоре после ухода чиновника, приходившего за справками, и портного, которому было заказано платье, в квартиру Дмитриевского явился Николай Петрович Архаров с целым отрядом полицейских и произвел обыск у слуги Иван Сергеевича.

Петровича обыскали первым. Самолюбивый старик плакал навзрыд от нанесенного ему оскорбления в то время, когда, по распоряжению Архарова, обыскивали других слуг Дмитриевского.

– Кто у вас есть еще? – спросил Николай Петрович, окончив обыск и не найдя ничего подозрительного.

Петрович, с распухшими от слез глазами, не удостоил ответом генерал-губернатора.

– Приезжий... племянник, барина... – сказал один из слуг.

– Какой приезжий?.. Какой племянник?.. Подать его сюда... – крикнул Архаров.

Виктор Павлович, сидевший в кабинете, услышав этот крик, вышел в залу.

– Не узнаете, ваше превосходительство?.. Это я... – сказал он Архарову.

– Ба... путешественник, – воскликнул тот, пристально несколько времени посмотрев на Оленина. – Что, допутешествовался до того, что и о службе забыл... Вот так офицер!.. Что же вы теперь, государь мой, предпринять думаете?..

Архаров знал Виктора Павловича еще сержантом, и последний не раз исполнял ему за границей разные поручения по части покупок заморских товаров.

– Не до меня теперь дело, ваше превосходительство, что с дядей?

Архаров подозрительно оглянулся на Петровича, стоявшего у двери в залу.

Виктор Павлович понял.

– Прошу в кабинет...

Архаров последовал за ним и там передал ему всю суть истории, в которой Иван Сергеевич попался как кур во щи.

– На днях все кончится благополучно... Я уже захватил главную нить.

Он рассказал о найденном письме у слуги Лихарева.

– Теперь о вас, – снова начал он. – Из-за чего вы опоздали?

– Возился с делами опеки, – соврал Оленин.

– Ну, что же, это причина уважительная. Если хотите, я доложу государю в хорошую минуту... Он простит, он отходчив. Такому молодцу да красавцу только служить в гвардии, – потрепал по плечу Архаров Оленина.

– Очень буду обязан, – отвечал Виктор Павлович.

Архаров уехал со всеми своими спутниками. Беседа с ним только временно успокоила Оленина. К вечеру судьба дяди тревожила его по-прежнему.

XII

Питерские новости

Встреча дяди с племянником была самая трогательная.

Днем, впрочем, при возвращении из дворца, Иван Сергеевич только вкратце рассказал Оленину о его свидании с государем, аресте и освобождении, то есть обо всем том, что уже известно нашим читателям.

Дмитревский спешил заняться своим туалетом, который в то время занимал очень много времени, особенно убор головы с косой, буклями и пудрой.

Он, как мы знаем, ехал во дворец обедать за императорским столом, честь, которая в то время выпадала на долю очень немногих.

Государь обедал, как мы уже сообщали, ровно в 12 часов.

В третьем часу дня Иван Сергеевич вернулся домой, разоблачился, надел шлафрок и лег в кабинете на диване.

После перенесенной им трехдневной передрыги, он наконец вздохнул свободно.

Виктор Павлович уселся в кресло около дивана.

– Я рад, дядя, что вся история так благополучно окончилась... Мы с Петровичем перепугались насмерть и невесть что передумали, – заговорил Оленин.

– Благополучно... ну, не совсем, чтобы очень благополучно... – улыбнулся Иван Сергеевич своими полными губами, и улыбка эта делала его красивое, породистое, добродушное лицо еще симпатичнее.

– Как, не совсем благополучно? – взволновано спросил Оленин.

Дмитревский ответил не сразу, а посмотрел на племянника своими иссиня-серыми большими глазами, которые, несмотря на то, что их обладателю шел пятый десяток, горели почти юношеским блеском.

– Чего ты опять струсил... Экая ты стал баба... Не особенно благополучно потому, что прощай свобода валяться на диване с утра до вечера без всяких препятствий...

– Ты снова на службе?..

– В том-то и дело, что запрягли... Я было и так, и сяк, ничего я не хочу-де, кроме спокойной жизни в отставке, так нет, не отвертелся.

– Что ж, сам государь тебе предложил, дядя, снова поступить на службу?

– Сам не сам, а почти что сам; цесаревичу Александру Павловичу приказал спросить, чего я желаю... Я сказал было, что ничего, но его высочество заметил, что государь будет недоволен таким ответом.

– Так передайте, ваше высочество, его величеству, что желаю посвятить всю свою жизнь службе ему и отечеству, – отвечал я.

– Ну, и что же?

– Ну, пока ничего, а каждый день надо ожидать назначения...

– В военную?..

– Едва ли... вакансий здесь для меня нет... верно по штатской...

– Что же, это пол беды, ты, дядя, совсем еще молодой человек, стыдно лениться, надо служить... Вот я...

Он остановился.

– Кстати, что обо мне говорить, от судьбы не уйдешь... поговорим именно о тебе... Что ты станешь теперь делать?

Оленин передал Ивану Сергеевичу свой мимолетный разговор с Архаровым и обещание последнего доложить о нем государю.

– Это счастливо... Вот уж именно нет худа без добра, моя глупая история послужила тебе на пользу... Николай Петрович самый близкий человек к государю, он сумеет найти хороший час и сумеет доложить... Я ему напому его обещание.

– Спасибо, дядя, – протянул ему руку Оленин.

Дмитревский подал эту руку своей могучей дланью, вполне гармонизировавшей с его высоким ростом.

– Но почему ты такой скучный, растерянный? Ужели на тебя так повлияло это приключение... Ободришься... Все перемелется, мука будет...

– Нет, я не о том... так... что-то мне не по себе... – уклончиво отвечал Виктор Павлович. – Что Похвиснев, ты о нем что-нибудь знаешь?.. Он был сюда вызван с фельдъегерем... Семья так перепугалась, поскакала за ним.

– Напрасно совершенно... Он генерал.

– Как генерал? Из майоров?

– Да, из майоров... Это замечательная история... О ней говорит весь Петербург.

– Вот как, а я не слыхал. Впрочем, ведь я безвыходно почти три дня просидел в четырех стенах.

– Как это тебе не рассказал Петрович?

– Я не заводил с ним о них разговора, да после обыска у него, он, вопреки своему обыкновению, сделался молчалив.

– Вот как! Ну, теперь снова разговорится.

– В чем же дело? Как же это он сделался вдруг генералом?

– Да так... Привезли его прямо во дворец, доложили государю.

– А! Растопчин! – обратился Павел Петрович к одному из своих генерал-адъютантов. – Поди, скажи, что я жалую его в подполковники.

Растопчин исполнил и возвратился в кабинет.

– Свечин! – обратился он к другому. – Поди, скажи, что я жалую его в полковники.

И тот исполнил.

– Растопчин, поди, скажи, что я жалую его в генерал-майоры.

– Свечин, поди, скажи, что я жалую ему анненскую ленту.

Таким образом, Растопчин и Свечин ходили и попеременно жаловали майора Похвиснева, сами не понимая, что это значит. Майор же стоял ни жив, ни мертв.

После последнего пожалованья государь спросил:

– Что! Я думаю, он очень удивляется! Что он говорит?

– Ни слова, ваше величество!

– Так позовите его в кабинет.

Майор вошел и преклонил колено. Государь жестом приказал ему встать.

– Поздравляю, ваше превосходительство, с монаршей милостью! Да! При вашем чине нужно иметь и соответственное состояние! Жалую вам триста душ. Довольны ли вы, ваше превосходительство?

Владимир Сергеевич снова упал, но уже на оба колена.

– Как вы думаете, за что я вас жалую? – спросил государь, помогая ему сам встать.

– Не знаю, ваше величество, и не понимаю, чем я заслужил...

– Так я вот объясню! Слушайте все. Я, разбирая старинные послужные списки, нашел, что вы при императрице Екатерине, были обойдены по службе. Так я хотел доказать, что при мне и старая служба награждается... Прощайте, ваше превосходительство! Грамоты на пожалованные вам милости будут к вам присланы на место вашего жительства... Вы хотите возвратиться в Москву?

– Нет-с, ваше величество, я не уеду из резиденции моего обожаемого монарха.

– Тогда живите здесь... Я буду рад вас видеть во дворце.

Государь отпустил Похвиснева, допустив его к руке.

– Вот каким образом Владимир Сергеевич из майоров сделался генера-майором. Он купил дом близ Таврического сада и теперь живет там со всем своим семейством, и всем и каждому рассказывает по нескольку раз эту историю.

Виктор Павлович невольно улыбнулся, так как у Ивана Сергеевича также была привычка рассказывать чуть ли не по десяти раз каждому эпизоды из его военной жизни.

– Впрочем, – продолжал Дмитревский, не заметив этой улыбки, – это не первый случай такого быстрого повышения при нынешнем государе. Граф Растопчин и сам получил почти также все свои чины, хотя и не с такою скоростью. Павел Петрович в первые дни своего царствования сказал ему:

– Растопчин! Жалую тебя генерал-адъютантом, обер-камергером, генерал-аншефом, андреевским кавалером, графом, и жалую тебе пять тысяч душ. Нет, постой! Вдруг, это будет слишком много! Я буду жаловать тебя через неделю!

Так и жаловал, каждую неделю по одной милости.

Иван Сергеевич замолчал.

Виктор Павлович сидел задумавшись.

– Так теперь Владимир Сергеевич ваше превосходительство.

– Форменное...

– А что Зинаида Владимировна? – дрогнувшим голосом спросил Оленин.

– Ага, теперь я понимаю? – вдруг вскрикнул Иван Сергеевич.

– Что понимаешь, дядя? – испуганно посмотрел на него Виктор Павлович.

– Да больше половины; почему ты сидел в Москве и никак не мог принять из опеки свои имения... видимо, ты попал под другую опеку.

Оленин смутился, покраснел и опустил глаза.

– Под какую опеку, дядя... я не понимаю...

– Рассказывай, брат, не понимаешь; нет, ты у меня лучше не финти... Все равно не проведешь... Старого воробья, брат, на мякине не обманешь... Что же, ты в таком возрасте... Это понятно... Всякому человеку определено таскать это бревно за собою... Жениться думаешь, исполать... Еще Лютер, немецкий поп, сказал, что кто рано встал и рано женился, никогда о том не пожалеет... а я скажу, кто рано не женился, тот никогда не женится, если, конечно, у него здесь все дома...

Дмитревский указал пальцем на лоб. Виктор Павлович слушал молча.

– Женьтиба, брат, это неизбежная глупость... Одна из трех глупостей, которые делают люди: рожатся, женятся и умирают...

– Ты, однако, дядя, избежал средней.

– Я что, я только исключение, подтверждающее правило... Но это в сторону... Я не удерживаю и не отговариваю... Общая участь, почти та же смерть... Мне лично, впрочем, всегда бывает веселей на похоронах приятелей, нежели на их свадьбах.

– Это почему?

– Да там их, по крайней мере, хоронят другие... Но я опять уклонился от предмета... Вот выбор твой не одобряю... Палагея... или как ее там по модному, Полина – я так Полей зову, лучше...

– Да ведь они так похожи друг на друга.

– Да, но та поменьше ростом, а из двух зол надо всегда выбирать меньшее.

Иван Сергеевич засмеялся. Улыбнулся невольно и Оленин.

– Это, впрочем, шутка, а если говорить серьезно, то я скажу тебе вот что: похожи-то они лицом очень, но душой далеко нет, физически они почти одинаковы, но нравственно различны. Это небо и земля.

– Которая же земля?

– Конечно, твоя Зинаида... Ее и тянет к земле, к земному, а та, другая... – вдруг неожиданно даже привстал на локоть Дмитревский.

– Да что вы, дядя, я ни на ком не думаю еще жениться...

– Врешь, брат, по глазам вижу, что врешь... или, может, у вас с Зинаидой все уже покончено?

– Помилуйте, она даже не знает, что мне нравится... Я за ней вовсе не ухаживал... Так, издали только... любовался...

– Это столько-то время в Москве прожив... все издали.

Иван Сергеевич раскатисто расхохотался.

– Или ты врешь... или ты глуп... Последнего я, однако, не замечал за тобою... Почему же?.. Издали?.. – опять с громким хохотом спросил Иван Сергеевич.

– Мне как-то все страшно... Что из этого будет...

– Из чего это... из этого?..

– Из нашего знакомства... сближения...

– Да что ты... Неужели втюрился... до робости... Это уж совсем скверно... Еще офицер... В чужих краях бывал... в Париже жил... Перед девчонкой робеет, а торчит около ее юбки до того, что о службе забывает... И мчится в Питер только потому, что она поехала... Ведь потому приехал... Не вилай... Отвечай прямо... – крикнул почти строго Дмитревский.

– Да... – совершенно невольно подчинился повелительному тону, отвечал Виктор Павлович.

– Баба ты... а не офицер... Мы эту дребедень... баб-то, приступом брали... Быстрота... натиск... шабаш.

– Да не то, дядя... Вы меня не понимаете... Ну, полюбим мы друг друга... Я-то люблю, уж я вам откровенно говорю, люблю до потери рассудка... Что же дальше?..

– Как, что дальше... Если до потери рассудка, то женись... Жених ты завидный... Капитан гвардии... богат... молод... красив... Какого же ей рожна, прости Господи, надо, коли тебе отказывать вздумает...

– Вот то-то, что я жениться не могу...

– То есть как... не можешь... объяснись... не понимаю.

– Я женат...

– Ты... женат? – вскочил с дивана Иван Сергеевич и остановился перед Олениным.

– То есть как тебе сказать... собственно и не женат...

– Что же за чертовщина... женат и не женат... Ничего не понимаю... Расскажи толком...

– Изволь, слушай...

Дмитревский сел на диван.

XIII

Под гнетом прошлого

– Я только что получил первый офицерский чин, – начал свой рассказ Виктор Павлович. В этот самый момент в квартире раздался оглушительный властный звонок.

Оленин оборвал на половине фразу и вздрогнул.

– Кто бы это мог быть? – заметил Иван Сергеевич. Виктор Павлович не отвечал.

Сердце у него как-то болезненно упало.

Оленин, по характеру своему хотя всецело и не оправдывал русскую пословицу: «блудлив как кошка, труслив как заяц», но пугался неожиданностей, даже самых обыкновенных.

Он испуганно глядел на своего дядю.

– Что с тобой... Ты чего-то боишься?

Виктор Павлович еще не успел ответить, как в кабинет вошел Петрович с каким-то таинственным выражением на лице.

– Что так такое? Кто это звонил? – спросил Дмитревский.

– Барыня... госпожа Оленина... – таинственным шепотом доложил камердинер.

– Как ты сказал, Оленина?... – переспросил Иван Сергеевич и вопросительно уставился на Виктора Павловича.

Тот сидел, как пригвожденный к месту.

– Она ко мне? – снова задал вопрос Дмитревский.

– Никак нет-с... она спрашивает... Виктора Павловича... говорят, что им доводятся супругой... – еще более смущенно проговорил Петрович.

– Супругой... – повторил Иван Сергеевич и снова бросил взгляд на сидевшего неподвижно Оленина, смотревшего в одну видимую только ему точку.

– Хорошо... сейчас выйдет... попроси подождать... – бросил Иван Сергеевич камердинеру.

Тот вышел.

– Виктор... Что это такое?... – после некоторой паузы, видя, что Оленин молчит и сидит, как будто весь этот доклад и рассказ Петровича до него ничуть не касается, спросил Дмитревский.

– Что это такое? – сдавленным, видимо, от внутренней боли голосом заговорил Виктор Павлович, обратив на дядю свой помутившийся взгляд. – Что это такое? Это она...

– Кто она?..

– Моя... жена... – с трудом выговорил Оленин последние слова.

– А-а-а... – протянул Дмитревский. – Ты выйдешь? – спросил он, помолчав.

– Должен... – с горечью ответил Виктор Павлович и встал.

Он раза три прошелся по кабинету, провел несколько раз рукою по лбу и медленно пошел к двери, ведущей в залу.

Отворив ее, он вошел.

Со стула с мягким сиденьем и жесткой спинкою, которыми по стенам была уставлена эта комната, стоявшего у зеркала в рамке красного дерева с таким же подзеркальником, поднялась высокая, стройная молодая женщина.

Красивая брюнетка, с тонкими рельефными чертами, точно выточенного смуглого матового лица, с большими миндалевидными черными глазами, жгучий взгляд которых несколько смягчался длинными густыми ресницами, она стояла перед ним, высоко подняв свою изящную голову.

На тонких пунцовых губах чуть змеилась полупрезрительная улыбка, тонкие, точно нарисованные брови были несколько сдвинуты.

Художник едва ли бы отказался от такой модели разгневанной богини.

Молодая женщина, видимо, была взволнована и ей требовалось много силы воли, чтобы сдерживать это волнение в известных границах.

Это выдавал предательский румянец, то загоравшийся, то пропадавший на ее покрытых легким пушком щеках.

Темный, но богатый туалет довершал очарование.

Войдя, Виктор Павлович остановился перед ней, не доходя шагов двух и опустил голову, как бы болезненно ощущая на себе молниеносные взгляды посетительницы.

– Ирена... – чуть слышно прошептал он.

– Что Ирена... Я скоро двадцать лет Ирена... – сперва как-то выкрикнула, а затем сдержавшись, продолжала гостя голосом, в котором слышались металлические ноты. – А вот где это видано, чтобы жена мужа разыскивала по всему городу. Чтобы он не справлялся даже по приезду, где находится его супруга?

Молодая женщина говорила по-русски очень чисто, но с заметным польским акцентом.

– Я думал ты в Варшаве... – виновато прошептал Оленин.

– Ты думал... – с горьким смехом перебила она. – Может быть даже ты ехал ко мне, но на перепутьи заехал отдохнуть к дядюшке.

– Нет... но...

– Без всяких «но...» Ты из моих последних писем должен был знать, к какому я пришла решению... Ты должен был знать, что я еду в Петербург... Я вызывала тебя сюда... Ты ведь приехал по моему вызову?

Она остановилась.

Виктор Павлович вспомнил, что он не только не читал, но даже и не распечатывал последних писем своей жены, полученных им в Москве одно вслед за другим незадолго перед отъездом. Он решил отвечать наобум.

– Да, да... но тут история с дядей... Ты не знаешь, что случилось...

– Знаю, знаю, я все знаю, даже знаю, что теперь ты мне в глаза лжешь... Ты не читал моих писем, ты даже их не распечатывал... Вот они...

Она быстро вынула из висевшего у ней на правой руке бархатного ридикюля два нераспечатанных письма с почтовыми печатями и подала Оленину.

Он машинально взял эту страшную улику.

Краска злобного стыда залила ему все лицо.

– Как же они попали к тебе? – растерянно спросил он.

– Как? Это уж мое дело... Где бы ты ни был, ты не уйдешь от моих наблюдений... Скажи лучше что-нибудь в твоё оправдание.

– Я был так занят... Дела по сдаче опеки...

– Ты лжешь опять! – вскрикнула молодая женщина. – Ты мог окончить их чуть ли не год тому назад... Тебе опекун предлагал это не раз... Ты все откладывал... Тебе хотелось быть в Москве, чтобы любоваться на Зинаиду Владимировну Похвисневу.

– Ирена...

– Что Ирена... Я двадцать лет Ирена... Разве это не правда, я все знаю... каждый твой шаг... Ты и сюда приехал, только погнавшись за нею... Я этого не потерплю, слышишь... не потерплю...

– Но наше условие...

– Что условие... я не могу...

– Но ведь ты знаешь, что наш брак...

– Знаю... знаю, что вы, – она перешла на это местоимение, – пользуясь моею молодостью, проделали надо мной некрасивую вещь, которая в прошлое царствование могла пройти для

вас, если не совершенно безнаказанной, то без особых тяжелых последствий... Не то теперь... Ведь есть, как вы знаете, свидетели нашего брака...

Лицо ее все пылало. Она была прелестна.

Виктор Павлович несколько раз поднимал на нее глаза, но тотчас опускал их под гневным взглядом.

– Вы же согласились, – начал он также на «вы». – Я, кажется, исполнял со своей стороны все... – начал было он.

– Что все?... Вы давали деньги... и это по вашему все...

Она нервно захохотала.

– Чего же вы хотите? – прошептал он.

– Вы не знаете... Впрочем, ведь вы не соображали прочесть моих писем.

Она взглядом указала на письма, которые она все еще продолжала держать в руке.

– Извольте, я скажу вам чего я хочу... Сядьте.

Она сделала величественный жест, указав ему на стул, стоявший по другую сторону подзеркальника, и сама села на свое прежнее место.

Оленин сел.

– Я прежде всего хочу, чтобы вы жили у меня...

– У вас? Это невозможно... Наш брак не объявлен...

– Не беспокойтесь... Я не хочу вас компрометировать, и не хочу за вас выходить замуж второй раз, то есть лучше сказать, второй раз венчаться, по-настоящему... Но я занимаю два этажа, вверх живу я с теткою... очень прилично... Внизу будете помещаться вы... Квартиры имеют ни для кого незаметное сообщение... Для всех будет казаться, что вы занимаете отдельную, холостую квартиру... Вы даже можете у меня не бывать.

– Тогда... к чему ж...

– Я буду бывать у вас...

– Это фантазия... К чему это поведет?..

– Я так хочу...

– А если я не соглашусь...

– Тогда... тогда я пойду к государю... Вы слышали об участии Игнатьева? Найдутся люди, которые заступятся и за меня...

Виктор Павлович вздрогнул.

Он дорогой в Петербург слышал об этой истории. Перемена во взгляде властей на брачные преступления заставила его и тогда задуматься о себе, о будущем. Это даже побудило его было рассказать дяде всю эту печальную историю своей ранней молодости и попросить его совета, а может быть помощи и заступничества.

В последние годы правления покойной императрицы, самовольные разводы между супругами и недозволенные женитьбы, как на близких родственниках, так и от живых мужей и жен сделались явлением почти обыкновенным и очень частыми.

Государю, отличавшемуся строгой нравственностью, было все это известно еще до вступления его на престол, а потому, приняв бразды правления, он захотел искоренить эту распущенность нравов, дошедших до своего апогея.

Много шума вызвало в петербургском обществе запрещение приезда ко двору трем представительницам высшего петербургского общества, которые отличались легкостью своих нравов, но еще более громким было дело Афанасия Ивановича Игнатьева, о котором и упомянула Ирена Станиславовна – так звали по батюшке госпожу Оленину.

Игнатьев – зажиточный дворянин – покинул свою жену на произвол судьбы, и несчастная женщина принуждена была добывать себе пропитание ценою своего позора.

О муже около полугода не было ни слуху, ни духу. Он канул точно в воду.

Наконец его разыскали в Украине, где он только что недавно женился на дочери киевского обер-коменданта, ни мало не тая, что его жена была жива.

Это было почти одновременно со вступлением на престол императора Павла.

Жена Игнатьева подала жалобу государю.

Павел Петрович горячо вступился за покинутую и обманутую женщину, арестовал самого Игнатьева, всех участников этого незаконного брака, судил их и приговорил к строгому, даже по тому времени, наказанию.

Такое наказание государя очень повлияло на обуздание распущенности того времени.

Перспектива такой же участи, какая постигла Игнатьева, никому, конечно, не улыбалась.

Виктор Павлович Оленин недаром при одном упоминании вздрогнул всем телом.

В тоне голоса своей жены он услышал твердую решимость. Она, видимо, далеко не шутила.

Он знал ее. Она способна была привести угрозу в исполнение тотчас же.

– Я согласен... У меня нет выбора... – сдавленным голосом произнес он.

– Какой тон... – вдруг игриво засмеялась она. – И таким тоном говорит человек, которому хорошенькая женщина предлагает сожительство под одною кровлею...

Она захохотала. В этом хохоте слышались и горькие ноты.

Он поднял на нее глаза. Она была, действительно, соблазнительно хороша. В его глазах вдруг мелькнул огонек страсти. Он улыбнулся, но потом вдруг закрыл лицо руками.

– За что вы меня мучаете?

– Я! – вскочила она. – Но неужели ты не понимаешь, что я люблю тебя...

– Тем хуже... – чуть слышно произнес он.

Она пропустила это замечание мимо ушей.

– Итак, я тебя жду через час... Вот адрес...

Она вынула из ридикюля сложенную бумажку и подала ему, успевшему уже несколько оправиться.

– Я ухожу...

Она пошла по направлению к двери, ведущей в переднюю. Он пошел проводить ее.

– Еще одно условие... – вдруг обернулась она почти у самой двери и остановилась.

Он тоже приостановился.

– Я здесь последний раз сказала, что я твоя жена... Этому лакею... Больше этого не будет, если ты не доведешь меня... Только и ты никому ни одним словом не должен обмолвиться о нашем несчастном браке... Дашь слово?

– Даю.

– Тогда до свиданья.

Она слегка кивнула головой и отворила дверь в переднюю. Там ждал Петрович, тоже взволнованный.

– Проводи... – сказал ему Оленин и, избегая его тревожного соболезнующего взгляда, ушел в кабинет.

– Ну что... Это она?.. Отчего же ты раньше не сказал, что ты женат... да еще на такой красавице... Я, грешный человек, на секунду приотворил дверь, когда вы были в самом пылу разговора.

– Я не женат, – отчеканивая каждое слово, сказал Виктор Павлович. – Я пошутил, дядя... И она пошутила, назвавшись моею женою... Внуши, пожалуйста, это Петровичу...

– Петрович, что Петрович, он как и я, могила! – ответил Дмитриевский. – Коли это тайна, так и пусть будет тайною!

Он пожал плечами.

XIV

В кабинете

Виктор Павлович сел в кресло и задумался. Иван Сергеевич стал медленно ходить по кабинету. Видимо, он что-то обдумывал и соображал.

Оленин, между тем, воссоздал в своем воображении только что пережитую им встречу со своей женой.

Он отдавал и теперь дань увлечению ее чисто животной, плотской красотой, он понимал, что эта женщина может заставить человека ради одного момента обладания решиться на все. Даже во время этого, только что окончившегося рокового свидания, когда она наносила ему оскорбления за оскорблениями, когда в тоне ее голоса слышалось глубокое презрение, были моменты, когда он готов был броситься к ее ногам и целовать эти ноги, готовые спокойно и равнодушно втоптать его в грязь.

Он понимал, впрочем, по горькому опыту, что это чувство пройдет тотчас после успокоения разбушевавшейся страсти, и что эта женщина сделается ему противной, как делается противно полное пряностей блюдо, ароматный пар которого ласкает обоняние, возбуждает аппетит, но после которого во рту остается какая-то неприятная горечь.

Близость к этой женщине наполняла голову каким-то туманом. Ее ласки были тяжелым кошмаром в форме приятного до истомы сновидения, после которого просыпаются с тяжелой головой и разбитыми нервами.

Это и заставило его избегать ее, чего нельзя было при жизни в одном городе, и он убедил ее уехать в Варшаву, а сам вскоре отправился в Москву.

Тут мысли Виктора Павловича переносятся на другую встреченную им девушку.

Русская красавица в полном смысле этого слова, с тем взглядом, дарящим, согласно русской пословицы, рублем, с тою нежащей теплою ласкою, которая необходима для человека, как чистый воздух и чистая вода.

Такова, показалась ему, была Зинаида Владимировна Похвиснева. Его потянула к ней какая-то сила, даже не любви, а немного обожания. Он считал ее чем-то неизмеримо выше себя, чем-то таким, перед чем можно лишь благоговейно преклоняться.

Он был влюблен, очарован. Видеть ее стало для него потребностью, ее взгляд, ее улыбка доставляли ему до сих пор им неизведанное духовное наслаждение.

Он, конечно, ее идеализировал, как все влюбленные.

Сделаться ее мужем было для него недостижимым блаженством, не в смысле прав супруга, а в смысле постоянного беспрепятственного созерцания своего кумира.

Он сознавал недостижимость этого счастья, и силою воли боящегося оскорбить свое божество влюбленного человека скрывал свои чувства от всех, и тщательнее всего от самой Зинаиды Владимировны.

Его ухаживание за ней, пока между им и ей стоит эта, только что ушедшая женщина с огненным взглядом, казалось ему оскорблением этой божественной девушки.

О, как он ненавидел порой в Москве эту помеху его счастья – Ирину.

Из-за этой глухой ненависти он бросил нераспечатанными те два письма, которые каким-то неведомым для него путем попали снова в руки писавшей их.

«Как могло это случиться?» – возникал в его уме вопрос.

«Вероятно он был окружен подкупленными ее слугами... От этой женщины станется все...» – тотчас и ответил он сам себе.

Любила ли, по крайней мере, его Ирина?

Она говорила это и, по-своему, она любила его. Она любила в нем доставляемый им комфорт, богатство, она любила в нем его красоту, силу, здоровье. Она любила в нем все, что было нужно для нее, без чего она не могла обходиться, жить.

Разве это любовь?

Его внутренний мир для нее не существовал, ей не было дела ни до его горя, ни до его радости.

Не то та, другая.

Он не знал, он не смел даже думать, что она любит его, но он припоминал иногда обращенные на него ее взгляды, казалось, проникающие прямо в душу, вливающие в нее живительный бальзам, дарящие покой и светлую радость.

Его разбитое существование поддерживала мысль, что Ирена кем-нибудь увлечется и согласится на окончательный разрыв. Он возлагал надежду на поездку в Варшаву, он не отказывал ей в деньгах, даже сокращая личные расходы. Он думал, что она там, среди своих соотечественников, встретится с кем-нибудь, кто заставит ее забыть о нем, оставит его в покое. Он готов был ее обеспечить половиной своего состояния... Он даже сказал ей это.

Тогда он был бы свободен и его кумир принадлежал бы ему.

Он знал, по отношению к нему семейства Похвисневых, что ни Зинаида Владимировна, ни ее родители ничего не имели бы против его предложения.

И вдруг, увы, все рушилось!

Он не успел даже побывать у Похвисневых, как появилась Ирена с своими грозными предписаниями. И все надо было исполнить.

Более всего бесило Виктора Павловича то, что внутренне он ничего не имел в настоящую минуту против переезда под одну кровлю с Иреной.

Годичная разлука сделала то, что она имела для него прелесть новизны.

Ее очаровательный образ носился перед ним и почти застилал собою образ Зинаиды Владимировны.

Он знал, повторяем, что это временно, но его бесила эта двойственность его природы.

– Послушай, Виктор! – вдруг подошел к нему Иван Сергеевич. – Я не любопытен и не хочу совершенно знать, какая тайна соединяет тебя с этой женщиной, которая называет себя твоей женою, которую ты назвал так несколько минут тому назад, но, быть может, я могу помочь тебе выпутаться из такого, видимо, двусмысленного положения, тогда, пожалуйста, располагай мною...

Оленин поднял голову.

– Милый дядя, я не знаю, как благодарить тебя за доброе слово... но ты мне помочь не можешь...

– Ты думаешь?... У меня есть связи, знакомство...

– Увы, никто не поможет...

– Уж и никто...

– Ты прав, не никто... Один человек мог бы мне помочь.

– Кто же это?

– Государь.

– Государь... – повторил Дмитревский. – Ну, это значит, конечно, никто, потому что государь у нас не потворщик любовным шашням... В этом отношении он более чем строг, и едва ли найдется человек даже из очень близких к нему, который решился бы доложить ему о подобном деле...

– Увы, я знаю это сам, и она это знает... – опустил голову Виктор Павлович.

– Что же ты намерен делать?

– Исполнить ее волю.

– В чем же состоит она, можно попытаться?..

Оленин рассказал вкратце желание Ирины Станиславовны.

– Ее нельзя назвать требовательной, – заметил Дмитревский.

– Ты думаешь?

– Я не только думаю, но это очевидно, другая потребовала бы открытой совместной жизни.

– Это было бы лучше.

– То есть как лучше?..

– Так, это не было бы тем дамокловым мечом, который теперь висит надо мною и не дает мне дышать спокойно. Она это знает... Я ей предлагал обвенчаться – она отказалась.

– Вот как!

– Да, она знает, что тогда я буду ее господином, а теперь я ее раб.

– Но в чем же дело? – невольно спросил Иван Сергеевич.

– Я не могу этого сказать тебе.

– Мне?

– Ни тебе, никому на свете.

– Но почему же? Ведь я не пойду доносить, – обиделся старик.

– Не то... Это тоже одно из ее условий.

– Но она не узнает.

– Она узнает все.

– Ты ею напуган, как малый ребенок.

– Ты ее не знаешь... Наконец, я дал ей только сейчас честное слово.

– Это другое дело. Я не настаиваю.

Оба снова замолчали.

Дмитревский стал по прежнему ходить медленными шагами по кабинету, а Оленин снова погрузился в свои думы.

– Письмо! – вошел в кабинет Петрович и подал на подносе Ивану Сергеевичу большой конверт, запечатанный круглой печатью черного сургуча.

Дмитревский взял письмо и сел на диван. Сломал печать, он вынул из конверта в четверо сложенный лист толстой бумаги, развернул его и стал читать.

– Это касается и меня, и тебя, Виктор, – сказал он, окончив чтение.

– Меня?

– Это письмо от Архарова; он пишет, что завтра выйдет высочайший приказ о назначении меня товарищем министра уделов, а относительно тебя пишет, что он говорил государю и его величество благосклонно отнесся к причине, задержавшей тебя в Москве. На днях он уведомит тебя, когда можно представить тебя государю... Ты будешь – он, по крайней мере, надеется – принят снова на службу в гвардию, тем же чином...

– Не забыл... Спасибо ему... А тебя, дядя, поздравляю от души.

– Есть с чем... Я даже не знаю, что я буду делать... В этом министерстве уделов, я, кажется, буду не у дела...

– С твоей-то светлой головой, да ты сразу обнимешь всю их канцелярскую премудрость...

– Однако, своего дела ты не хочешь доверить рассудить этой светлой голове, – съязвил Иван Сергеевич.

– Дядя, – укоризненно начал Оленин.

– Молчу, молчу, я пошутил.

В это время раздался звонок.

Оказалось, пришли два бывших сослуживца-товарища Дмитревского, Беклешов и князь Друцкой. Дмитревский познакомил их со своим племянником.

Хозяин стал рассказывать гостям о своем трехдневном аресте, о двукратном представлении государю, обеде во дворце и наконец предстоящем назначении.

Подали шампанское и поздравили нового будущего товарища министра.

Разговор перешел к злобе дня – реформам нового царствования.

– Цесаревич Александр – правая рука своего отца в делах правления, – заметил князь Друцкой.

– Еще бы! После того, более чем доблестного поступка, которым он проявил свою сыновнюю преданность, государь, говорят, не чаает в нем души, – проговорил Беклешов.

– А что такое? – спросил Оленин.

– Разве вы не знаете? Впрочем, вы долго были в отсутствии. Еще в последние месяцы царствования покойной императрицы распространилась повсеместная, хотя и тайная, молва, что государыней оставлена духовная, по которой наследником своим она назначает своего внука Александра Павловича, минуя сына. Духовная доставлена была в сенат, для вручения после ее смерти великому князю Александру Павловичу, и действительно была вручена ему.

– Что же он? – спросил заинтересованный Виктор Павлович.

– Он поступил, как достойный внук Екатерины и предпочел долг сыновний своей собственной выгоде и завещанию своей августейшей бабки. Он пошел прямо к своему отцу и упал перед ним на колени, держа в руках запечатанный пакет с этим завещанием, при чем сказал великие слова: «Се жертва сына и долг к отцу! Делайте с ним и со мною что вам угодно».¹ Этот благородный поступок так тронул государя, что он со слезами на глазах обнял своего сына и спросил его, что он желает, чтобы он для него сделал. Великий князь пожелал только быть начальником над одним из гвардейских полков и пользоваться отеческою любовью государя. Вот как поступил цесаревич, – закончил рассказчик.

– Едва ли это правда, – заметил Дмитревский. – Хотя, действительно, после того, как цесаревич назначен был полковником в семеновский полк и первый присягнул своему отцу, а за ним вся гвардия, на него посыпались милости государя и он поручил ему важнейшие должности в государстве.

– Он их и достоин; несмотря на свою молодость, он одарен великими качествами ума и сердца; даже, если то, что я рассказал, и не было на самом деле, а только слух, который, однако, упорно держится повсеместно в народе, – заметил Беклешов. – Люди лгут и я тоже.

– Но как же народ относится к этому поступку цесаревича? – спросил Оленин.

– Он благословляет его, так как всякий благомыслящий сын отечества легко мог предусмотреть, государь мой, что такой случай мог бы произвести бесчисленные бедствия и подвергнуть всю Россию неисчислимым несчастьям, – отвечал князь Друцкой.

– За это, говорят, и Самойлов пожалован орденом и четыремя тысячами душ крестьян; уверяют, что государь этой милостью исполнил лишь волю своей покойной матери, – заметил Беклешов.

– Самойлов... Он был генерал-прокурором? – спросил Дмитревский.

– Да. И он-то, как говорят, и внес завещание государыни в сенат, а затем вручил его цесаревичу.

– Сенат знал о содержании этого завещания?

– Нет, оно было внесено в запечатанном конверте.

– Я утверждаю, что это пустая молва. Просто анекдот, – заметил Иван Сергеевич.

– Если и анекдот, то он указывает на мнение народа о цесаревиче, как о человеке, способном на высокодоблестный поступок.

– Это несомненно, народ не обманывается, – кивнул головою Дмитревский.

Беседа продолжалась еще несколько времени, а затем гости простились и ушли.

– Я сейчас поеду, дядя!.. – дрогнувшим голосом сказал Виктор Павлович, взглянув на часы.

¹ А. Т. Болотов. «Памятник протекших времен».

Был шестой час вечера.

– Поезжай, но помни, если что понадобится, обратись ко мне, – сказал Иван Сергеевич.

XV

На улице

Виктор Павлович вышел из кабинета, отдал наскоро приказание своему камердинеру Степану отвезти его вещи по данному Иреной Станиславовной адресу на Гороховую улицу.

Улица эта носила ранее название Адмиралтейской, но во время царствования Екатерины II на ней жил и торговал купец Горохов, который был на столько популярен, что заставил забыть народ прежнее название улицы и звать ее по его фамилии – Гороховою.

Степан, молодой парень, с добродушно-плутоватой физиономией, почтительно выслушал объяснение смущенного барина о новой квартире, куда следовало перевезти все сундуки и чемоданы, привезенные из Москвы.

Надо заметить, что Степан, ехавший следом за своим баринком с вещами, поотстал от него на дороге и прибыл только на другой день в Петербург, но имел менее причин к рассеянности, а потому твердо помнил адрес Ивана Сергеевича Дмитриевского, который Оленин дал ему в Москве, и привез вещи прямо в квартиру дяди Виктора Павловича.

– Понял? – обратился к нему Оленин.

– Понял-с, как не понять, что же тут мудренного. Сейчас добуду ломового извозчика и перевезу мигом... тут недалеко...

– А ты почему знаешь?

– Как не знать... Я тоже эти дни походил по Питеру, да и не впервой с вами в этой столице мы проживаем, как не знать... – усмехнулся Степан.

Действительно, он был приставлен к Виктору Павловичу еще его опекуном Сергеем Сергеевичем, когда Оленин еще был сержантом, и во время разъездов последнего оставался в Петербурге присматривать за вещами.

Он, конечно, был из крепостных Оленина, что не мешало ему порой проявлять свою самостоятельность, возражать своему барину и спорить с ним.

Виктору Павловичу сначала это надоедало, затем он свыкся с этим и привык к одному и тому же, выроставшему перед ним по его зову лицу.

Сколько раз он грозил своему верному Личарде изгнанием, отправкой в деревню, но Степан только ухмылялся, зная, что это пустая угроза, которую Виктор Павлович никогда не приведет в исполнение.

Надо, впрочем, сознаться, что за Степаном и был только один недостаток слуги: он любил рассуждать.

В описываемое нами время этот недостаток считался, впрочем, из крупных.

Рассуждения Степана происходили от того, что он был самоучка-грамотей и очень кичился этой грамотой и умом.

Другое свойство этого слуги была слабость к женщинам.

Для смазливой личики он был готов на все жертвы, до измены барину включительно, хотя к Виктору Павловичу он был очень привязан и готов идти за него в огонь и в воду, не по долгу слуги, а по собственному побуждению.

Поэтому, когда Ирена Станиславовна подала Виктору Павловичу нераспечатанные письма, Оленину почему-то пришла на память круглолицая Франия, горничная Ирены, и он тотчас же решил, что это дело Степана.

«Надо его положительно отправить в деревню, – мелькнуло в его голове. – Но чего я этим достигну! Возьму другого, его можно будет купить за деньги – еще хуже».

Он, как всегда, отстранил мысль изгнания Степана.

Последний знал все его привычки, он был ему положительно необходим, при том же непостоянен и влюбчив. Увлечение Франей пройдет и тогда он снова будет на стороне своего «красавца-барина», как звал Степан за глаза, а иногда и в глаза Виктора Павловича.

«Если тут не далеко, я пройду пешком», – решил Оленин и, одевшись с помощью Петровича, так как Степан уже ушел исполнять приказание относительно вещей, вышел на улицу.

Был ранний зимний день. Морозило. Небо было безоблачно и звезды сияли как-то особенно ярко. В городе было тихо, лишь изредка кое-где слышался визг санных полозьев.

Полною грудью вдыхал Оленин резкий, холодный воздух, медленно шагая по направлению к своей тюрьме, как называл он приготовленную ему Иреной Станиславовной квартиру.

А вот и дом купца Арсеньева, как значилось на данном ему адресе.

Это был двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте. По фасаду каждый этаж имел по семи окон, с зелеными ставнями, которые в настоящее время были закрыты.

Для дверей в оба этажа был общий подъезд под деревянным навесом.

Дом был видимо новый, еще недавно окрашенный в коричневую краску, а ставни в зеленую.

Две медные ручки звонков, находившиеся одна под другой в узкой полосе стенки между дверьми, блестели, как золото.

Вообще вид дома был очень представительный для того времени и среди домов тогдашнего Петербурга, принадлежавших частным лицам.

Виктор Павлович, остановившись на деревянной панели, шедшей мимо этого будущего его жилища, внимательно осматривал его и внутренне остался доволен.

Он, однако, не решился сейчас же войти в него.

«Что я буду там делать? Степан еще не перевез вещей. Я лучше немножко пройду!» – мелькнуло в его голове.

Он не хотел сознаться самому себе, но он трусил.

Ему казалось, что вот одна из этих дверей, смотря потому в какой звонок позвонит он, откроется, он войдет и та же дверь, затворившись за ним, навсегда разлучит его со всем тем, что дорого ему в Петербурге, с Зиной... со свободой...

Он ощутил какую-то внутреннюю дрожь.

«Я пройду!» – снова повторил он сам себе.

Он снова оглядел внимательно дом. Он казался необитаем, ни малейшей полоски света не проникало между ставнями.

Были ли они так плотно и аккуратно пригнаны, или же в доме не зажигали огня?

«Верно на улицу парадные комнаты... Внутренние выходят на двор», – подумал он, и даже отошел на середину улицы, чтобы посмотреть, далеко ли тянется постройка на двор.

Оказалось, что дом занимал и на дворе довольно большое пространство.

Оленин снова перешел на панель, несколько минут постоял в раздумьи и двинулся далее.

Он шел, и мысли одна другой несуразнее неслись в его голове.

То казалось ему, что, вернувшись и войдя в жилище Ирены, он найдет ее мертвой. Живо неслась в его воображении картина: эта красавица-женщина, лежащая в гробу со сжатыми, побелевшими губами, с которых еще не успела сойти та презрительная усмешка, которую он видел на них несколько часов тому назад, с крестообразно сложенными руками.

«Теперь ты не будешь держать меня в них, как в железных тисках!...» – думалось ему при виде этих красивых рук, с длинными пальцами и розовыми ногтями.

То вдруг ему представлялась та же Ирена с веселым лицом, с доброй улыбкой на губах и со смеющимися глазами.

«Что, испугался?... А я пошутила... Ты свободен... Иди...»

И он стоит перед ней, и так хорошо ему, что он может уйти, что он свободен, и он не хочет уйти... Ему хорошо с ней, с такой...

Но вот из-за ее спины выглядывает другое лицо, лицо Зины.

«И почему это дядя говорит, что она вся „земля“? – мелькает в его уме. – Ужели я могу так в ней ошибаться... Нет, она ангел... Она добра, нежна... Она не от мира сего... Его, дядю, обманывает эта русская красота, это белое, как кипень, тело... Однако, он говорит, что Поля лучше... а они так похожи...»

«Боже, Боже, когда я вырвусь к ним... Сейчас вернусь, войду в дверь, дверь захлопнется и все кончено...» – несется в его голове.

«Вздор, почему же все, ведь я мужчина, ведь у меня тоже есть характер... Я сломаю ее...» – решает он в одну минуту, но образ грозной Ирены восстает перед ним.

Сердце его снова падает...

Виктор Павлович медленно идет все прямо.

Его выводит из задумчивости шум ехавшей и вдруг остановившейся почти около него кареты. Он поворачивает голову в сторону стоящего на середине улицы экипажа.

У кареты отворяется дверца, откидывается подножка и из нее появляется нарядно одетая в бархатный салоп с дорогим мехом воротником дама.

В это время мимо кареты и Оленина медленно проезжают сани, запряженные в одну лошадь.

В санях сидит военный. Это сам государь Павел Петрович. Дама, стоя на подножке, приседает. Виктор Павлович по-военному вытягивается в струнку и отдает честь.

Государь кланяется даме и рукой подзывает к себе Оленина.

Дама скрывается снова в карете, подножка поднимается и экипаж едет далее.

Виктор Павлович, ни жив, ни мертв, подходит к императору, сидящему в санках.

– Военный? – спрашивает государь.

– Бывший, ваше величество.

– Что так, молод кажись, рано на покой...

– Исключен, ваше величество.

– За что?

– Опоздал из отлучки, ваше величество.

– Кто такой?

– Капитан гвардии Виктор Павлович Оленин.

– Оленин... – повторил государь и на минуту задумался.

Виктор Павлович стоял на вытяжке, не шелохнувшись и не сводя глаз с государя.

– Оленин... – повторил государь. – За тебя просил Архаров... Ты опоздал, задержавшись с опекунскими делами...

– Точно так; я, ваше величество, ходатайствую о снисхождении, о принятии вновь на службу... До последней капли крови готов служить вашему величеству...

– Хорошо... по одежде вижу, не модник... – сказал Павел Петрович, внимательно оглядев Оленина с головы до ног.

Платье, сшитое по последнему высочайше утвержденному фасону, произвело, видимо, на его величество весьма приятное впечатление.

– Приходи завтра во дворец... Сегодня же велю зачислить... Завтра объявлю куда... Тогда и шей форму... Офицер у меня без формы ни шагу... Слышишь...

– Слушаю-с, ваше величество... Благодарю вас, ваше величество.

Государь протянул руку.

Виктор Павлович тут же, около саней, опустился на одно колено и поцеловал перчатку государя.

– Где живешь?

– У дяди... у Дмитревского... – почему-то сказал Оленин. Ему не хотелось упоминать дома Арсеньева.

– Ты ему племянник?

– Точно так-с, по матери, ваше величество...

– Хороший человек... Будь и ты такой же.

– Рад стараться, ваше величество.

– Так до завтра... Зачислю в гвардию... где служил, – сказал государь. – Трогай! – крикнул он кучеру.

Сани унеслись.

Виктору Павловичу все это показалось сном.

Такая неожиданная встреча с государем, в сравнительно позднее для последнего время дня, сразу изменившая его судьбу, произвела на него ошеломляющее впечатление.

Он несколько минут, несмотря на то, что санки государя уже давно скрылись из виду, стоял как вкопанный.

– Однако, надо все же идти... туда... – пришел он, наконец, в себя.

Он повернул назад.

XVI

У себя

На звонок Виктора Павловича, данный им не без внутреннего волнения, дверь ему открыл Степан. Широко улыбаясь, встретил он своего барина.

– Сюда пожалуйста! – заторопился он, указывая рукой на дверь, находившуюся в глубине, освещенную фонарем, повешенным на стене сеней.

В фонаре ярко горела восковая свеча.

Оленин вошел в переднюю, освещенную таким же фонарем с восковой свечей, но более изящной формы. Снимать с него шубу бросился другой лакей, одетый в щегольской казакин.

Сняв шубу, Виктор Павлович устался на нового слугу.

– Кто ты?

– Герасим, крепостной вашей милости...

– Откуда?

– Тульский!

– Ага... – протянул Оленин и прошел в залу.

За ним шел следом Степан, продолжая как-то блаженно-радостно улыбаться.

Все комнаты были освещены.

В большой зале, в четыре окна на улицу, горела одна из двух стоявших по углам масляных ламп на витых деревянных подставках; в гостиной массивная бронзовая лампа стояла на столе и, наконец, в кабинете на письменном столе горели четыре восковые свечи в двух двойных подсвечниках.

Виктор Павлович был в полном недоумении.

Убранство пройденных им комнат не оставляло желать ничего лучшего, комфорт был соединен с изяществом, везде была видна заботливая рука, не упустившая ни малейшей мелочи, могущей служить удобством, или ласкать взор.

Оленин был доволен. Такая забота о нем льстила его самолюбию, и он стал улыбаться почти так же, как и шедший за ним Степан.

Широкий турецкий диван в кабинете, около которого стояла подставка с расставленными уже Степаном трубками своего барина, манил к покою и неге.

Мягкие ковры гостиной и кабинета заглушали шаги.

Виктор Павлович с наслаждением опустился на этот диван и тут только обратил внимание на остановившегося у притолки двери Степана, улыбавшегося во весь его широкий рот.

– Ты чего улыбаешься? – крикнул на него Оленин.

– Да как же барин, очень чудно...

– Что чудно?

– Да, вдруг, квартира вся в аккурате... И прислуга... земляки... Я ведь тоже тульский...

– Кто же тут еще?

– А как же: лакей Герасим... другой Петр... повар Феоктист, кучер Ларивон, казачек Ванька, судомойка Агафья и горничная девушка Палаша.

– Вот как, весь штат.

– Все как следует... Я диву дался, как сюда вещи привез... Ишь, думаю, какой барин скрытный, мне хоть бы словом обмолвился. С Палашкой-то мы ребятишками игравали...

Степан лукаво ухмыльнулся.

– Халат! – прервал его разглагольствования Оленин. – Спальня рядом?

– Точно так, через нее ход в гардеробную, а оттуда в столовую.

Виктор Павлович прошел в спальню.

Она тоже была убрана с тщательным комфортом. Широкая кровать под балдахином с пышными белоснежными подушками, красным стеганым пунцовым атласным одеялом, ночной столик, туалет, ковер у постели – все было предусмотрено.

Оленин разоблачился, надел халат, осмотрел остальные комнаты, которыми также остался доволен; вернувшись в кабинет, он приказал подать себе трубку и, отпустив Степана, уселся с ногами на диван.

– Позвонить изволите, когда нужно, тут везде звонки-с, – доложил Степан.

Над диваном, действительно, висела шитая разноцветной шерстью сонетка.

– Хорошо, позвоню, ступай.

Слуга вышел.

Виктор Павлович стал делать глубокие затяжки и скоро сидел окруженный клубами душистого дыма.

Кругом все было тихо.

Ни извне, ни изнутри не достигало ни малейшего звука, несмотря на то, что был только восьмой час в начале, как показывали стоявшие на тумбе из палисандрового дерева с бронзовыми инкрустациями английские часы в футляре черного дерева.

«Что могло это все значить? – восставал в уме Оленин вопрос. – Что это любовь или хитрость?»

Появление его крепостных в Петербурге не могло удивить его настолько, насколько удивило Степана. Он отдал в распоряжение тетки Ирены Станиславовны свое тульское имение, о чем и написал управителю, поэтому Ирена и могла сделать желательные ей распоряжения.

Не удивила его и окружающая роскошь, так как опекун не стеснял его в средствах и большая половина доходов переходила к той же Ирене и ее тетке Цецилии Сигизмундовне.

Оленин сделал последнюю затяжку. Трубка захрипела и потухла.

Он бережно поставил ее у дивана и откинулся на его спинку.

«Что-то делается там, у Таврического сада?» – мелькнуло в его уме, и вдруг рой воспоминаний более далекого прошлого разом нахлынул на него.

– Таврического сада... – прошептал он.

Этому саду, видимо, назначено было играть в его судьбе роковую роль.

После смерти светлейшего князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, дворец его объявлен был императорским и в нем осенью и весной любила жить императрица Екатерина.

Таврический сад вошел в моду у петербуржцев и сделался местом модного и многолюдного гулянья.

Там Виктор Павлович, будучи уже гвардейским офицером, в первый раз увидел Ирену Станиславовну Родзевич.

Он теперь припомнил эту роковую встречу.

Она была далеко не первой. Девочку-подростка, черненькую, худенькую, с теми угловатыми формами и манерами, которые сопутствуют переходному времени девичьей зрелости, всегда в сопровождении худой и высокой, как жердь, дамы, с наклоненной несколько на бок головой, он, как и другие петербуржцы, часто видал в садах и на гуляньях.

Лета дамы опеределить было трудно. Быть может, она была средних лет, а, быть может, и старой женщиной.

Ее лицо было сплошь покрыто густым слоем притираний, делавшим ее очень схожей с восковой куклой.

Одевалась она в яркие и пестрые цвета.

Все обращали на нее невольное внимание, черненькая же девочка оставалась в тени.

Изредка разве кто, заметив взгляд ее черных, вспыхивающих фосфорическим блеском глаз, скажет бывало:

– Ишь, какая востроглазая!

Виктор Павлович был даже несколько знаком с накрашенной дамой, которую звали Цецилия Сигизмундовна Родзевич.

Худенькая, черненькая девочка была ее племянница, дочь ее умершего брата – Ирена.

Познакомил его с ними его товарищ по пансиону, артиллерийский офицер Григорий Романович Эберс.

Оленин, однако, ограничился лишь, так называемым, шапочным знакомством, и прошло около двух лет, как потерял из виду и тетку и племянницу.

Тем более была поразительна встреча с ними.

Виктор Павлович гулял под руку с тем же Эберсом. Вдруг последний толкнул его локтем.

– Смотри, Родзевич!

Их давно не было видно. Оленин посмотрел и положительно обомлел.

Рядом с ничуть не изменившейся Цецилией Сигизмундовной шла величественною поступью высокая, стройная девушка, красавица в полном смысле этого слова.

Мы уже слабым пером набросали портрет Ирены Станиславовны, а потому произведенное ею впечатление на молодого гвардейского капитана более чем понятно, если прибавить, что в то время молодой девушке недавно пошел семнадцатый год и она была тем только что распутившимся пышным цветком, который невольно ласкает взгляд и возбуждает нервы своим тонким ароматом.

Эберс вывел его из оцепенения и подвел к Родзевич. Знакомство возобновилось.

Надо ли говорить, что Виктор Павлович уже теперь не только не ограничился одними поклонами, а стал искать всякого случая встречи с «крашенной» теткой, как называл он мысленно Цецилию Сигизмундовну, и с очаровательной Иреной.

При посредстве того же Эберса, он через несколько времени получил приглашение в дом к Родзевич.

Они занимали более чем скромную квартиру на второй линии Васильевского острова.

Квартира была убрана с претензиями на роскошь, на ту показную убогую роскошь, которая производит впечатление худо прикрытой нищеты, и вызывает более жалости, нежели нищенские обстановки бедняков.

Начиная со сплошь заплатанного казакина прислуживавшего лакея, но казакина, украшенного гербовыми пуговицами, и кончая до невозможности вылинявшим ковром, покрывавшим пол маленькой гостиной, и разбитой глиняной статуи, стоявшей на облезлой тумбе – все до малейших мелочей этой грустной обстановки указывало на присутствие голода при наличности большого аппетита.

Ирена Станиславовна была, на фоне этой квартиры, похожа на сказочную владетельную принцессу, временно одетую в лохмотья.

Такое, как припомнил теперь Оленин, произвела она на него впечатление при первом приеме у себя.

Когда она вышла в эту маленькую и разрушающуюся гостиную, то ему показалось, что он сидит в царских палатах, среди утонченной роскоши, блеска золота и чудной игры драгоценных камней.

Она способна была скрасить всякую обстановку, как та сказочная принцесса, которая носила свои лохмотья, казавшиеся на ней королевской порфирой.

Он не обратил внимания на смешные приседанья, которыми встретила и проводила его Цецилия Сигизмундовна, и лишь во второй или третий раз ему бросился в глаза ее домашний костюм.

Он резко отличался от тех, которые она носила, выходя из дома; весь черного цвета, он состоял из ряски с кожаным кушаком иполумантии с какой-то странной формы белым крестом на плечах.

Он обратился за разъяснением к Ирен.

– Тетя – мальтийка... – просто сказала молодая девушка.

– Мальтийка?.. – недоумевающе-вопросительным взглядом окинул он красавицу.

Это слово было для него непонятным.

Ирена Станиславовна в кратких словах объяснила ему историю мальтийского ордена и сообщила, что ее брат Владислав новичат этого же ордена, то есть готовится принять звание рыцаря.

– Где же теперь ваш брат? – спросил Оленин.

– Я не могу наверное сказать вам, или в Риме, или же на Мальте... Он давно не писал ни мне, ни тете...

Виктор Павлович залюбовался на дымку грусти, которая искренно, или притворно заволокла чудные глаза его собеседницы.

– Я тоже посвящу себя этому ордену... – томно заметила Ирена.

– Вы?

– Да, я. Чему вы так удивились?.. Для меня нет ничего в жизни... Посвятить себя Богу – мое единственное и постоянное желание.

Она подняла глаза к небу.

– Как для вас ничего... для вас... в жизни... все... – взволнованно заговорил Оленин.

– Что же это все? – усмехнулась она углом своего прелестного рта.

– То есть как что... все?.. Все, что вы хотите...

– О, я хочу многого... недостижимого...

– Для вас достижимо все.

– Вы думаете?

– Я в этом уверен... С вашей поражающей красотой...

– Поражающей... – улыбнулась она.

– Именно поражающей... – пылко перебил он ее. – Вам стоит только пожелать.

– И все будет, как по волшебству... Ну, это сомнительно... Я слишком много желаю и... слишком мало имею... – медленно произнесла она, презрительным взглядом окинув окружающую ее обстановку.

– Да кто же бы отказался исполнить ваше малейшее желание, если бы даже оно стоило ему жизни!.. – восторженно воскликнул Оленин.

– Вы большой энтузиаст и фантазер!.. – подарила она его очаровательной улыбкой.

С каждым свиданием он терял голову. Прирожденная кокетка играла с ним, как кошка с мышью.

Он видел, впрочем, что это его восторженное поклонение далеко не противно очаровавшей его красавице, но все же оставался только в области намеков на свое чувство, не решаясь на прямое объяснение.

Ирена Станиславовна, даря его благосклонными улыбками, искусно держала его на таком почтительном отдалении, что готовое сорваться несколько раз с его губ признание он проглатывал под строгим взглядом этого красивого ребенка.

Ребенок был сильнее его – мужчины. Он, по крайней мере, считал себя таковым.

Время шло.

Он ходил как растерянный, похудел, побледнел, стал избегать товарищей. Это не укрылось от их внимания, а в особенности от внимания Григория Романовича Эберса.

Последний, к тому же, лучше всех знал причину такого состояния своего приятеля. Он заставил его высказаться и помог ему... но как помог?

Виктор Павлович весь дрогнул при этом воспоминании.

– Зачем он послушался этого совета, казавшегося ему тогда чуть не гениальным... А теперь!

– Добро пожаловать, дорогой муженек! – вдруг раздался около Оленина голос.

Он пришел в себя, обернулся и увидел Ирену, стоявшую на пороге двери, ведущей из спальни в кабинет.

XVII

Палач и жертва

В широком капоте из тяжелой турецкой материи, в которой преобладал ярко-красный цвет, с распущенными волосами, подхваченными на затылке ярко-красной лентой и все-таки доходившими почти до колен, стояла Ирена Станиславовна и с улыбкой глядела на растерявшегося от ее внезапного оклика Оленина.

В этой улыбке была не радость приветствия, а торжество удовлетворенного женского самолюбия.

Она несколько минут молча глядела на него своими смеющимися, прекрасными глазами.

Он тоже молчал, невольно залюбовавшись так неожиданно появившейся перед ним прекрасной женщиной.

Она, действительно, была восхитительна.

Тяжелые складки облегли ее роскошные, рано и быстро развившиеся формы, высокая грудь колыхалась, на матовых, смуглых щеках то вспыхивал, то пропадал яркий румянец, — след все же переживаемого ею, видимо, внутреннего волнения.

Высоко закинута голова, деланная презрительная улыбка и деланный же нахальный вид доказывали последнее еще красноречивее.

Виктор Павлович сидел под взглядом этой женщины, как в столбняке, — он похож был на кролика, притягиваемого взглядом боа и готового броситься в его открытую пасть, чтобы найти в ней блаженство гибели.

Все думы, все мысли как-то моментально выскочили из его головы, и она, казалось, наполнялась клокочущею, горячею кровью.

— Ирена... — задыхаясь, произнес он и бросился к ней.

Она как будто ожидала именно этого и отстранила его, бывшего уже совсем близко от нее, своей рукой.

Разрезной рукав капота позволил ему увидеть точно отлитую из светлой бронзы, обнаженную почти до плеча руку.

— Я не ожидала, что вы так рады встрече со мной, Виктор Павлович! — насмешливо произнесла она.

Руки, поднятые для того, чтобы обнять эту чудную женщину, опустились.

Он отступил и как-то весь съежился.

Обливаемый у колодца горбун почему-то пришел ему на память.

Холодная дрожь пробежала по его телу.

— Ирена... — тоном мольбы, снова произнес он.

— Добро пожаловать, дорогой муженек... Довольны ли вы своей холостой квартирой?

Он молчал.

— Присядем, что же мы стоим... Вы как-то странно принимаете гостью, даже не предложите сесть...

Она звонко засмеялась, сделав особое ударение на слове «гостья».

Он бросился подвигать ей кресло.

— Нет, я сяду здесь, — сказала она и быстро направилась к турецкому дивану, уселась на нем, вытянув свои миниатюрные ножки в красных сафьянных туфельках и чулках телесного цвета.

Виктор Павлович стоял, судорожно сжимая рукой спинку кресла.

Она снова подняла на него свои смеющиеся глаза.

— Что ж вы не ответили мне, довольны ли вы вашей квартирой, которую я убрала с такой заботливостью, с таким старанием и с такой... любовью...

Она снова захохотала, подчеркнув это последнее слово. Этот хохот произвел на него впечатление удара бичем.

– Что вам от меня надо?.. Зачем вы меня мучаете?.. – прохрипел он.

Его горло, видимо, сдавливали нервные спазмы.

– Ха, ха, ха... – снова разразилась она веселым хохотом, – мучаю... Чем же это, позвольте вас спросить, мучаю... Не тем ли, что позаботилась устроить вам удобную квартиру, сообразную положению капитана гвардии... Вы, впрочем, исключены, кажется... Вы забыли и о службе, и о карьере для прекрасных глаз Зинаиды Владимировны...

– Ирена, – перебил он ее, – я запрещаю вам произносить это имя...

– Запрещаю... – фыркнула она... – Запрещаю... Кто же это вам дал право мне что-нибудь запрещать или позволять?.. Если так, то вы каждый вечер будете слышать от меня это дорогое имя, которое я профанирую, по вашему мнению, моими грешными устами. Грешными... А ведь они были, быть может, почище и посвятей, чем уста Зинаиды Владимировны... А кто сделал их грешными? Отвечайте!

Виктор Павлович молчал, до боли закусив нижнюю губу.

– Вы молчите... Извольте, я не буду задавать вам более таких щекотливых вопросов, но помните, что слово «запрещаю» относительно меня вы должны навсегда выбросить из вашего лексикона.

– И вы для этих разговоров удостоили меня своим посещением, да еще и неизвестным мне путем? – делано-холодным тоном спросил Оленин.

– Для чего бы то ни было, я имею полное право, когда хочу, приходить к моему мужу, а путь очень прост. Вам стоило обратить внимание на глубину двери, ведущей отсюда в кабинет, чтобы догадаться, что в толстой стене, разделяющей эти комнаты, устроена лестница, ведущая наверх, а в боковой стене двери есть другая, маленькая дверь, запирающаяся только изнутри, и ключ от которой находится у меня. Удовлетворено ли ваше любопытство?

– Это, однако, не объясняет мне ничего в наших отношениях, да и самое требование ваше о моем переезде сюда, в квартиру с такими странными приспособлениями, мне, признаться, совсем непонятно...

– Вот как... А вам было бы, конечно, понятнее, проделав с бедной, беззащитной девушкой постыдную комедию, лишив ее честного имени, бросить ей подачку и передать другому, успокоившись устройством таким способом ее судьбы... Это для вас понятнее?

– О какой подачке вы говорите?.. Я хотел разделить с вами мое состояние...

– А разве это не подачка? Разве значительность суммы может изменить дело, разве десять рублей не все равно, что десять тысяч, сто тысяч, миллион даже, разве сумма цены изменяет факт купли? – взволновано заговорила она и даже отделилась всем корпусом от спинки дивана.

– Но... – растерянно и смущенно перебил ее Оленин, – я предложил вам этот дележ после того, как вы отказались обвенчаться со мной вторично и сделаться на самом деле моей законной женой... Я и теперь снова предлагаю вам это, вместо этой устроенной вами для меня тюрьмы и исполнения вами роли тюремщика...

– Тюрьмы, – усмехнулась она. – За ваше преступление тюрьма небольшое наказание, а такого тюремщика вы и совсем не стоите... А, может быть, вам бы хотелось в его роли видеть Зинаиду Владимировну...

– Ирена!

– Что... Ирена... Я вам сказала, что я не перестану говорить о ней и не перестану...

Она уже сползла с дивана и, опустив ноги на пол, топнула ножкой.

– Но почему же вы не хотите быть моей женой? – прошептал он, совершенно подавленным голосом.

– Не чувствую ни малейшего желания изменить свое положение.

– Что же хорошего в этом положении?

– А что же дурного? Я девица Родзевич... Живу со своей теткой. Свободна как ветер... Меня окружают поклонники, которым я, благодаря вам, могу безнаказанно дарить свое расположение в весьма осязательной форме...

– Ирена... Замолчи! – вскрикнул он.

– Почему я должна молчать... Мы вдвоем, и я говорю вам правду... Мне терять нечего... Надо только действовать с умом, а его я не пойду занимать у вас... Я довольствуюсь вашим состоянием...

Она захохотала, но в этом хохоте слышались горькие ноты.

– Возьмите его себе... Все... и освободите меня от этой муки! – выкрикнул он.

В этом крике слышалась нестерпимая внутренняя боль.

– Оно и так мое, – холодно сказала она. – Но мне нужно и вас.

– Зачем?..

– Вопрос более чем странен... Я затрудняюсь ответить, так как вы сейчас доказали мне, что не любите откровенности... Ну, хоть бы затем, чтобы быть холоднее с моими поклонниками...

– Мне страшно понимать вас...

– Какой вы стали боязливый... А почему вы не подумали, что мне будет страшно то, что вы заставили меня понять...

– Я увлекся... Я любил вас...

– А я, может быть, вас до сих пор люблю...

– В таком случае... Ирена, дорогая... – он подошел и сел около нее на край дивана. – Почему ты не хочешь обвенчаться со мной?

– К чему... Что изменит брак в наших отношениях? Ничего... Для вас, я понимаю, он был бы выходом из вашего тяжелого положения, для вас он был бы к лучшему, а для меня только к худшему... Я ведь не сказала вам, что я люблю вас до самопожертвования... Я люблю вас... люблю потому... потому что вы мне еще не разонравились...

– Это откровенно...

– Я предупреждаю вас, что буду только откровенной...

– Но почему же, сделавшись моей женой, ваше положение изменится к худшему?

– А вы этого не можете сообразить... Между тем это так просто... Теперь вы мой раб, а тогда я буду вашей рабою...

– Как так?

– Да так. Теперь вы в моей полной власти... Я могу распоряжаться вами и вашим состоянием...

Он вздрогнул.

– Не бойтесь, я не буду злоупотреблять этим... А тогда выдав мне свое имя, не лучше чем имя Родзевич, сочтете, как всякий мужчина, свой долг относительно меня исполненным... Вы устроите дом... будете отпускать мне суммы на хозяйство, на булавки. А себя сочтете свободным... На ревнивых жен не обращают внимания... Ревность жены – такое общее место... Ведь ей дано положение, место почетной прислуги... Ведь развлечения мужа на стороне не потрясают ее домашнего трона... Чего же ей нужно... Так рассуждают мужья и жены волей-неволей должны подчиниться... Не то в нашем положении... Я не потерплю не только малейшей измены, но даже возникшего подозрения... Вам придется забыть Зинаиду Владимировну...

Он встрепнулся...

– Но я не могу же не бывать там хоть изредка... Это покажется странным... Мы даже дальняя родня.

– Как вы перепугались... Даже приплели родство... Бывать я вам разрешаю везде... Но знайте, что мне будет известно каждое ваше движение, каждое слово... И берегитесь, если вы

от вашего немого обожания к этой девчонке, перейдете к более существенным доказательствам ваших чувств... Горе и ей... Впрочем, она мне поплатится и за прошлый год.

В последних словах Ирены Станиславовны прозвучало столько злобы, что Виктор Павлович невольно вскочил с дивана и отошел в сторону.

– За что же?... В чем же она виновата?... – простонал он.

– В том, что стала на моей дороге... Вы знаете басню Лафонтена «Волк и ягненок». – Я волк – вы меня сделали им... Но довольно об этом, поговорим о вас... Вы хотите поступить снова на службу?

– Хочу и поступлю, – резко ответил он, еще не успокоенный от раздражения.

– Куда? – властно спросила она.

Он как-то невольно подчинился ее авторитетному тону и покорно отвечал:

– В гвардию... В тот же полк...

– Вот как? Кто же это устроил вам?

Он рассказал о ходатайстве Архарова и о встрече с государем.

– Это хорошо... Значит мне хлопотать не придется...

– Вам... – насмешливым тоном спросил он, думая хоть этим уязвить этого прекрасного «палача», как мысленно называл он Ирену.

– Да мне... – спокойно сказала она.

– Через ваших поклонников... Слуга покорный...

– Вы ревнуете... Это мне почти нравится, – усмехнулась она.

– И не думаю.

– Не лгите... Но успокойтесь... Я хотела просить Шевалье.

– Какую Шевалье?

– Мою приятельницу... французскую актрису.

– А... знаю... Что же могла тут сделать актриса?

– Очень много... Пожалуй, более чем сам Архаров.

– Каким образом?

– Она хороша с Кутайсовым... Вы понимаете?

– Понимаю...

– Вот я в моей непрестанной заботе о вас, – насмешливо продолжала она, – хотела через нее добиться прощения вас государем... Но это уладилось иначе и я очень довольна! Чем меньше услуг мы требуем от наших друзей, тем лучше.

– Относительно меня, вы, понятно, не держитесь этого правила?

– Вы мне не друг... вы враг.

– Вот как!..

– Несомненно... Вы укрощенный мною зверь, и не будь у меня в руках хлыста, вы бы растерзали меня... Вы обвиненный, я палач, а разве палач и жертва могут быть друзьями.

– Вы, однако, довольно правильно глядите на вещи... И такое положение укротителя и палача вам нравится? – сказал он.

В голосе его звучала бессильная злоба.

– Очень... Нет ничего лучше чувства власти... Вы, мужчины, очень хорошо знаете это. Почему же женщина не может воспользоваться обстоятельствами, дающими ей в руки эту власть.

Он заскрежетал зубами.

– Не сердитесь... Разве можно сердиться на такую красивую женщину.

Она встала во весь рост и закинув на голову свои обнаженные руки, лениво потянулась. Вся кровь бросилась ему в голову.

– Садитесь сюда, рядом со мной! – села она снова на диван.

Он повиновался. Она обвила его рукой за шею и потянула к себе.

Снова мысли и думы, весь, только что окончившийся унижительный для него разговор, вылетел у него из головы и она снова наполнилась одною клокочущею горячею кровью.

XVIII

У таврического сада

В описанный нами день треволнений для Виктора Павловича Оленина, день встречи его с Иреной Станиславовной и переезда, по ее требованию, под одну с нею кровлю, в доме генерала Владимира Сергеевича Похвиснева ждали гостей.

Туда должен был приехать и Иван Сергеевич Дмитревский. Последний хотел прихватить с собой и своего племянника, но визит таинственной посетительницы и происшедший после него разговор с Олениным побудил старика не заикаться не только о совместной поездке, но даже о предполагаемом им самим посещении семьи Похвисневых.

Похвисневы, как мы уже сказали, приобрели домик за Таврическим садом, то есть по тогдашнему времени не только на окраине города, а за городом.

Дом был деревянный, одноэтажный, окруженный забором, за которым с одной стороны был густой сад, а с другой обширный двор, со всевозможными службами, людскими и тому подобными хозяйственными постройками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.